

Б И Б Л И О Т Е К А

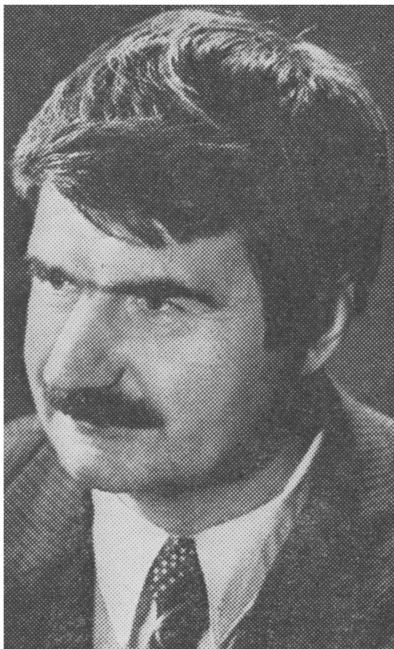
ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 37

1983



*Гарий НЕМЧЕНКО*

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

# ХОККЕЙ В СИБИРСКОМ ГОРОДЕ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 37

---

Гарий НЕМЧЕНКО

# ХОККЕЙ В СИБИРСКОМ ГОРОДЕ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1983

## Гарий НЕМЧЕНКО

*Гарий Леонтьевич Немченко родился в 1936 году в станице Отрадной Краснодарского края. Окончил факультет журналистики Московского университета. Больше десяти лет жил в Сибири. Работал редактором многотиражной газеты «Металлургстрой» на строительстве Западно-Сибирского металлургического завода под Новокузнецком, собственным корреспондентом «Строительной газеты». Член Союза писателей с 1964 года.*

*Вышло около трех десятков книг прозы, в том числе романы «Здравствуй, Галочкин», «Пашка, моя милиция», «Тихая музыка победы», сборники повестей и рассказов «Конец первой серии», «Зимние вечера такие долгие», «Я в Москве и хотел бы вас видеть», «Отец», «Красный петух плимугрок», «Скрытая работа», «Праздник возвращения птиц».*

*Лауреат премии ВЦСПС и Союза писателей СССР.*

## ХОККЕЙ В СИБИРСКОМ ГОРОДЕ

### 1

Не знаю, как оно вышло — скорее всего, проговорились девчата с междугородной, — но уже рано утром весь город знал: когда после игры, уже глубокой ночью, позвонил жене из Саратова капитан «Сталелавильщика» Витя Данилов, трубку взял ее хахаль и по дурацкой своей привычке спросонья брякнул: «Хоменко слушает».

Телефонистка попыталась было спасти дело, закричала Вите, что по ошибке набрала не тот номер, но он только помолчал-помолчал, да и положил трубку...

Слух был, как гром среди ясного неба.

Никто тут не застрахован, это так, однако наверняка есть счастливицы, которых бережет сама судьба, — разве наш Витя не из них?..

Витя Данилов, Даня...

Стоит это произнести, и сердцу вдруг станет радостней, и ты как будто снова на ярком празднике: ослепительно сияет испещренный белыми завитушками голубоватый лед, над ребятами в красной форме и в белых шлемах мелькают разом победно вскинутые клюшки, с полутемных трибун обрушивается вниз счастливый рев, все на секунду замирает в едином крике, только стремительный игрок в красном, низко пригибаясь, все еще мчится по площадке, словно не может никак остановиться, — он, Даня...

А был ли случай, чтобы не пришла на стадион поболеть, пусть там любой мороз, его Вика?.. Или, может, в машине у Дани кто-нибудь видел хоть раз другую женщину?

Белую его «Волгу» трудно было представить без Вики, без выглядывающих из каждого окошка детских мордашек, любая из которых — Даня вылитый... При чем тут, люди добрые, скажите, Хоменко?

Грустно, конечно, что этот скандальный слушок в пять минут разнесся по всему Сталегорску. Но тут уж ничего не поделаешь. Может быть, это в вашем городе если не пятнадцать, то по крайней мере восемь театров, с пяток концертных залов и дюжина уютных кафе, где

можно посидеть, не торопясь, — у нас хоккей. Может, это у вас, чего доброго, старинный собор с лучшим в Европе органом или хотя бы православная церковь, из которой убрали наконец гнилую картошку и где теперь по вечерам поет хор, это у вас дискуссионный клуб и пустующие пивные бары с редким перестуком из кегельбана — у нас хоккей. Может, у вас по вечерам невзрачный карлик с летающей тарелки, тоскливо окидывая взглядом лишь на треть заполненный зал, уныло читает лекцию о тайнах далеких миров — не знаю. У нас хоккей. Правда, какой хоккей!.. Был.

Три года назад, когда «Сталеплавильщик» вопреки всем прогнозам не то что вышел — ворвался в высшую лигу, почти все сначала подумали, что это счастливая случайность. Тот самый старинный сибирский фарт. Погодите, рассуждали, приедут-ка из столицы взрослые дяди — уж мальчишек наших высекут! Но вот и мощное «Динамо», и грозный «Спартак», и беспощадное ЦСКА — все у нас побывали и — ничего!.. Если москвичи и выигрывали, то с таким потом, что ой-ей; бывало, и ничьей, как дети, радовались — так молодой да ранний «Сталеплавильщик» старичков мастеров уматывал; а бывало...

Нет, это надо, конечно, увидеть: как «проваливалась» вдруг у ворот «Сталеплавильщика» тройка каких-нибудь знаменитых на всю страну нападающих, как не поспевала обратно, и наши ребята, стремительно обходя не менее знаменитых, раскоряченных сейчас, и клюшку и свободную руку по бокам выставяющих защитников, молниеносной перепасовкой обманывали заслуженного вратаря и закатывали вдруг шайбу такую трудовую и красивую, что трибуны стонали от восторга, а на наших находил стих, как будто удваивали скорость, казалось, их подпитывало теперь, заряжало сумасшедшей энергией то пульсирующее, дрожащее над стадионом силовое поле, которое вобрало в себя душевный порыв всех до единого болельщиков.

Стадион вокруг «коробочки» старый был, деревянный, на семь тысяч, но набивалось сюда до девяти — куда до нас той самой сельди из бочки!.. В одиночку повернуться, индивидуалист несчастный, и не думай, больно самостоятельный, ишь, если надо — все вместе повернемся, весь ряд. Стучалось, во время самых злых матчей чуть ли не на всех ярусах люди стояли боком — один край поля у тебя впереди, а другой за спиной, ну да ничего, через плечо посмотрим — и не к тому привыкли, мы такие. Иногда в самую напряженную минуту людская стенка не выдерживала, где-нибудь на слабинке ее выпирало вбок, и с полсотни человек, а то и больше вываливались из своего ряда, сбивали соседей ниже, а те следующих, и людская волна сперва опадала, а потом, уже гораздо медленней, поднималась обратно, когда нижние подталкивали выпавших, подпирали их, поддерживали, подсаживали, а те, кому удалось устоять наверху, тащили их за руку, а то и за воротник — нечасто

увидишь, чтобы русский человек соплеменника своего так трогательно вытаскивал!..

О том, что все это под открытым небом, под звездами, я не говорю, стоит ли — не каждый вечер мороз под пятьдесят. Да и какой мороз, если со всех сторон так давят, что косточки хрустят, это, во-первых, и если чуть не у всякого имеется с собой ха-рошее средство против холода, во-вторых. Лишь бы добраться. Лишь бы вытащить. Лишь бы отсчитать двадцать капель. Лишь бы соседи потом в самый ответственный момент случайно, не дай господь, не толкнули...

Зато каким — не осудите! — слегка хвастливым довольством звучали потом на улицах голоса, когда расходились наши болельщики после выигрыша, какая благодать бывала даже не на самых добрых, не на самых симпатичных лицах написана!.. Недаром городские социологи тут же обнаружили: в те дни, когда наши побеждали, в Сталегорске начисто прекращалось хулиганство. Да что об этом — стыдно, право, и поминать! Лучше о другом: день-два, а то, глядишь, и неделю на шахтах давали такую выработку, что ахнешь, и сталь на комбинате шла исключительно первым сортом, и даже лесорубы в окрестной тайге — вон докатывалось куда! — творили чудеса да и только.

Поди разберись, отчего это: то ли обычное, всем понятное «ай да мы!», а то ли что-то другое.

Тут меня можно будет в пристрастии обвинить, можно будет, конечно, половицу насчет куличка и родного его болотца припомнить, но только сдается мне, штука еще и в том, что в нашем Сталегорске испокон хорошо знали цену всякому мастерству да удали — вон еще в какие поры славились здешние кузнецы да рудознатцы!

В конце двадцатых годов, когда приехали сюда две сотни иностранных спецов да две сотни тысяч ни уха, ни рыла в металлургии не разумеющих российских лапотников, повидали в этом городе всякого, но уже через год, через два закваска взяла свое, перестали французы да бельгийцы друг с дружкой об заклад биться: завалитесь заводские цехи сразу или постоят хоть маленько?

Каменных домов тогда было один, два и обчелся, остальное — продувные бараки да промозглые «землескребы», но кто-то, увидавший сизый дымок над первою домною, восторженно закричал: «Сибчикаго!..»

В проклятом сорок первом, когда еще не знавшие почем фунт лиха удалыцы из «Центра» маршировали по обломкам старинных заводов Украины, здесь, в Сталегорске, за несколько бессонных недель научились прокатывать броню, успели-таки заслонить Россию-матушку. Недаром теперь перед комбинатом в Сталегорске стоит на гранитном постаменте прошедшая огонь и воду «тридцатьчетверка»...

Те, кто помоложе, расскажут вам нынче о крановщике, который железобетонную плиту на четыре граненых стакана поставит,

пообещают показать экскаваторщика с разреза, который десяти-тонным, полным угля ковшом спичечный коробок, не повредивши, закроет. Правда, это баловство одно, пыль в глаза. Другой, допустим, табак, если операторы в прокатном, когда план горит, на всю смену автоматику, чтобы вручную поднажать, отключают. Это еще куда ни шло. Это для дела, выходит, быстрее.

Так или иначе, а есть, есть в нашем Сталегорске и седоусые старики-умельцы в шитых на заказ — чтобы все их честно заработанные ордена уместить — пиджаках, и чернобородые, с единственной пока медалью мальчишки, которым тоже палец в рот на кладу. Почему все же они разом сняли, как говорится, шляпу перед хлопцами из «Сталеплавильщика»?

Была ли это, и верно, дань уважения мастерству? Или, может быть, неосознанная благодарность была за то, что из холодного молчания темных сырых забоев, из жаркого гула горячих стальных машин чуткую живую душу каждого они забирали потом с собой на яркий праздник страстей человеческих, где кипело все вместе и все на виду — случай, воля, жестокость, азарт, разбитые надежды, хитрость, мужество, удача, слава, позор...

Стоп, однако. Минуточку.

Ловлю себя на том, что начал все больше о мастерах, чуть ли не о героях... Но разве города вроде Сталегорска, с одноклассниками их, словно грыжа, извините, развитием, не плодят заодно не нашедших себе места около угля да около стали, а о чем-то совсем другом постоянно размышляющих неудачников?

И сколько их, пришедших на стадион не в стоптанных пролетарских пимах, а в щегольских когда-то ботиночках, в странных, где-то далеко от нас, за Уралом, только-только входящих в моду шапчонках, сколько их, виновато протирающих стекла запотевших на морозе очков, так же, как и все остальные, бестрепетно вручали свою душу этим крепким, ладным ребятам, этим всемогущим, одетым в кожаные доспехи — как там дальше? — конечно, ледовым рыцарям.

Но это не затем, чтобы поддержать их, до седин оставшихся мальчишками, не затем, чтобы заставить их в который раз начать все сначала, спускался между вторым и третьим периодом в раздевалку к хоккеистам пожилой, с задумчивыми глазами директор комбината Кюняев. Затихали в раздевалке споры, смолкал разговор, и директор, которому вездесущий начальник команды тут же подавал стакан крепкого и горячего чаю, говорил в тишине, нарушаемой лишь домашним позвякиванием серебряной ложечки: «Что-то вы того, молодцы... Вы не скили? Надо выиграть. Надо... Там кое-что из моего фонда еще осталось. После выигрыша — всем по транзистору».

И ледовые рыцари, слегка избалованные уже не только славою, глядели на отхлебнувшего наконец чаю директора и с пониманием,



но вроде бы заодно и с некоторым смущением: мы-то, мол, сознаем, что конец квартала, еще бы, но как же это Борис Андреич забыл, что транзисторы у всех уже есть — еще в прошлом месяце, тоже, естественно, в конце — подарили.

Начальник команды делал знак, обещая маленькое это недоразумение уладить, и настроение у ребят, когда они выходили на лед, делалось веселей, и стадион, подбадривая их, ревел, и они выигрывали, и комбинат вырывал квартальный план...

Нет-нет, забавное то было время, в одночасье сделавшее героями не только самих хоккеистов, но даже многих других, не заимевших, правда, имен собственных, а ставших как бы приложением к знаменитым теперь на всю округу фамилиям: «дядька Зюсюкина», «сосед Спицына», «теща Прохоряка». И они как-то сразу к этой своей новой роли привыкли и, кроме всяких мелких подробностей из жизни тех, благодаря кому они стали людьми заметными, где-нибудь в длинной очереди за зеленым горошком охотно и доверчиво предсказывали уже не только исход будущего матча в Сталегорске, но и возможную расстановку команд в таблице чемпионата страны, и даже судьбу мирового первенства.

Верьте, в общем, не верьте, но вот в тот год наш полумиллионный со всеми остальными соответствующими его рангу прилагательными город коллективно сошел с ума.

Видели бы вы, как поздней весной, когда наши ребята закрепились-таки в высшей лиге, бульдозеры раскатывали старый стадион!..

Думаете, нам подкинули денег на новый? Эге!.. Это расщедрились, раскошелились, устроили складчину отцы города — директора заводов да начальники шахт. Проектировщики теперь задаром сидели ночами — удешевляли типовой проект и привязывали к местности. Вырастали, словно грибы, списанные по всем правилам, как брак, совершенно целехонькие железобетонные конструкции. С заказами стадиона хитрили в многочисленных мастерских — выполняли в первую очередь и за так.

И к ранней зиме посреди Сталегорска красовался новенький хоккейный стадион для десяти тысяч зрителей.

Правда, его не успели накрыть, ну да разве это беда? Без крыши оно для нас даже как-то привычней, да-да, уверяю вас!

Порадевшим родному городу добрым людям благодарная администрация стадиона выделила лучшую трибуну и отпечатала бесплатные пропуска: приходи, болей, радуйся.

И приходили, и радовались.

Должен, правда, сказать, что из всех трибун эта, «руководящая», была самая тихая — куда им, благодетелям нашим, еще и здесь кричать, бедным?.. И перенесшие уже по второму инфаркту, и совсем еще молодые, они успевали за день до хрипоты накрыться на разных рапортах да оперативках и теперь только тихонечко, как бы не-

вольно, но все-таки сладко поскуливали, всякий даже мельчайший успех «Сталеплавильщика» относя, наверное, на свой особый с Москвою счет, который до сих пор никогда не бывал в их пользу — пытались ли они отстоять денежные средства по титульному листу, воспротивиться ли принятию встречного плана либо доказать несостоятельность какой-либо очередной, выращенной в колбе инициативы сталегорских трудящихся...

Но недолго, однако, играла музыка...

Пригладевшись за первый сезон к нашим ребятам, московские тренеры потащили в столицу одного за другим, и еще летом уехали пятеро. Шестого увезли с собою из Сталегорска зимой — сразу после игры... Что тут скажешь? Москва, она есть Москва. Тем более, когда тебе только самую малость за двадцать и когда ты прямо-таки яростно убежден, что сборная страны без тебя ну никак не обойдется. Разве не об этом говорили сталегорским мальчишкам приезжавшие к нам со своими командами опытные, всего на своем веку повидавшие родоначальники нашего хоккея?..

И стал наш «Сталеплавильщик» отдавать одну игру за другой.

Уже не жаловались москвичи, что нету крыши у нас над стадионом, уже не требовали остановить игру посреди периода, чтобы расчистить площадку. Обыгрывали и так — и в сильный снегопад и в метель. Болельщики начали сперва потихоньку, а потом все громче роптать, на заметно поредевших трибунах шли теперь бесконечные разговоры о том, что команду растащили, что средь бела дня наш город, считай, ограбили...

Обиженная в лучших, как говорится, чувствах околоспортивная братия разговорами не ограничивалась, а пробовала, как могла, помочь делу — только что сошедших с трапа самолета москвичей затаскивали в ресторан, заговорщически официантам подмигивали, приглашали к столу не очень, надо прямо сказать, дороживших репутациею своею девочек, горячо толковали им на ушко о чувстве городского патриотизма, и этот нехитрый провинциальный механизм иной раз да срабатывал, и на первой игре гости еле-еле стояли на ногах, и наши побеждали, как правило, с сиротским счетом «два-один».

Однако на следующий день, как будто малодушия собственного устыдясь, как будто желая примерно наказать за предательство, москвичи закатывали двенадцать, а то, чего доброго, и четырнадцать безответных шайб, и в такие горькие для всего города вечера публика начинала потихоньку расходиться еще задолго до окончания матча — обычно после того, как вошедшие в раж гости закатывали десятую.

В эти дни нависла над погрустневшим «Сталеплавильщиком» еще одна грозовая туча. Мало того, что москвичи нас под монастырь подвели, по нашим косточкам твердо решили пройти в высокую лигу соседи-новосибирцы.

Был у нас прекрасный защитник Коля Елфимов. В девятнадцать лет рост — сто восемьдесят, вес — девяносто, а главное — скорость, какой нет и у иного нападающего. Коля не работал — учился в техникуме, и по всем законам была ему дана отсрочка от армии, да что ты будешь делать, если командующий сибирским военным округом не только ярый болельщик, но и сам спортсмен, мастер по лыжам, в кроссах до сих пор с солдатами рядом бегаёт, и если теперь он кровь из носа решил собрать классную команду. Нашли они там какой-то хитрый параграф, и приехал из Новосибирска подполковник — за нашим Колей.

Это ли для простого защитника, еще не ставшего мастером спорта, не честь? Да нам-то от этого не легче.

И так уговаривали подполковника, и этак — хоть бы что. Личное поручение командующего — и точка. Единственное, на что он в конце концов согласился, — лишний денек пробыть в Сталегорске, чтобы Коля последний разок сыграл в родном городе.

И это была его, подполковника, роковая ошибка...

Мне в тот день позвонил мой друг-медик: «Будешь сегодня вечером?»

А среди болельщиков уже стало хорошим тоном отвечать теперь на такой вопрос не сразу. Ведь знаешь же, что не утерпишь, прибежишь как миленький, куда денешься, но непременно надо помяться в разговоре, повздыхать: а чего, мол, там делать вечером?.. Или будет на что посмотреть?

Я и тут стал так, а друг мой и говорит: «Ты это брось. Сегодня — как штык. Сегодня Коле Елфимову сотряс будучи делать».

Спрашиваю: «А что такое «сотряс»?»

«Как, — отвечает, — что? Сотрясение мозга! Команда сегодня всю тренировку бросок на борт отработывала. Создадут момент, и... Со «скорой» уже договорились. Тут же на носилки и — в травму. И Коля своему подполковнику — ручкой...»

Голь на выдумки хитра — права пословица! Да только что нам, и в самом деле, оставалось?

Конечно, я в тот вечер не сводил глаз с Коли Елфимова: когда же, думал, когда?.. Да и все остальные на стадионе ждали, сдается мне, того же. Насчет сотряса не знал, по-моему, только порученец-подполковник.

Это как-то неожиданно произошло: Коля был без шайбы, стоял себе, выжидал, а тут его промчавшийся мимо торпедовец — играли с горьковчанами — задел плечом, слегка развернул. В это время срикошетила шайба, ударилась Коле в коньки, и тут на него все и бросились, и горьковчане и наши — только борт затрещал.

Ну, свалка, свисток, все, как обычно, только потом все встают, а Коля лежит, разбросав руки, и головою туда-сюда потихоньку, вроде бы с великою болью водит — артист!..

Стали около него игроки собираться, судья подъехал, наклонился и выпрямился почти тут же, сделал знак уже привставшему со скамейки дежурившему от «скорой» врачу в белом, натянутом поверх овчинного полушубка халате, и тот с чемоданчиком в руке засеменял по льду.

Видно, он там сперва нашатырь нюхать давал, все по науке — осматривал сперва, ощупывал или что там, только тоже вскоре поднялся с корточек, помахал рукой санитарам — а те уже только того и ждали.

Стадион гудел, все шеи повыкручивали, провожая глазами лежавшего на носилках молодого защитника.

Тут же, как только вынесли Колю из «коробочки», появился около носилки новосибирский подполковник, но Коля, говорят, даже взглядом на него не повел, а санитарам, тем, что быстренько пошли себе с носилками дальше, навстречу уже распахнутой задней двери белого с красной полосой рафика, — горячий привет вашему товарищу лыжнику!

На следующий день утром я позвонил своему другу — медику, спросил, посмеиваясь: «Ну, и как сотряс?»

А он вдруг вздохнул: «С сотрясом-то все нормально, ничего нет, а вот плохо, что нашему Елфимычу ключицу сломали и два ребра... Не по сценарию у них, понимаешь, вышло — не успел, говорит, мобилизоваться».

И не успевший мобилизоваться богатырь Елфимыч почти два месяца каждую игру стоял потом на «руководящей» трибуне и, облокотившись о металлический поручень, мрачно смотрел, как добивают его любимую команду.

И добили — куда ты денешься.

Мало того что «Сталеплавильщик» со свистом вылетел из высшей лиги, на следующий сезон его в классе «А» стали дотаптывать. И кто, подумать?.. Какой-нибудь там «Прядильщик» — и смех, ей-богу, и грех.

Старые болельщики еще хорошо помнили, как три года назад этот самый «Прядильщик» на нашем стадионе опростоволосился. Он тогда тащился чуть ли не позади всех и мог очень даже запросто из класса «А» вылететь, ему очки позарез нужны были, а мы свое в тот сезон досрочно взяли, нам уже было наплевать, и ребята из «Прядильщика» перед игрой чуть не на коленях упросили наших «подлечь», попросту говоря, поддаться. Наши в раздевалке посмеивались: придется помогать мужикам, если такое дело, а то, говорят, домой хоть не возвращайся!

Решить-то решили два очка отдать, но потом заигрались, вошли, что называется, во вкус, и между делом набросали хлопцам из «Прядильщика» полную шапку. Потом опомнились, неловко стало,

что дружеский договор нарушили, и стали шайбу потихоньку гостям подсовывать: нате, мол, действуйте!

А оно как назло. Не идет к ним шайба, хоть плачь!

Потом, наконец, одному нападающему, шустрому с виду пареньку, выложили прямо на клюшку, а сами вроде замешкались, приотстали... И вот мчится он впереди всех и чуть не от синей линии нашему вратарю орет в голос: «Гера, ну ведь договорились же, Гера!..»

Гера потом рассказывал, что он уже для верности и глаза закрыл, чтобы реакция, значит, не подвела, чтобы, грешным делом, не поймать шайбу случайно.

И тут вдруг этот самый шустрый с виду нападающий «Прядильщика» на ровном месте споткнулся, плюхнулся на лед и на животе въехал мимо Геры в ворота, а шайба прошла метра на два левее.

Стадион тогда со смеху помирал, как он Геру-то на бегу уговаривал. А теперь, пожалуйста, увозит из Сталегорска четыре очка из четырех — этот самый «Прядильщик» занюханный! Это ведь надо перестать себя уважать, чтобы до такого докатиться...

И переставали потихоньку. Уважать.

Ну, в самом деле, смотришь, замерший, на эти жалкие потуги «Сталеплавильщика» забить шайбу и чувствуешь, как лицо твое поневоле кривится в грустной такой усмешечке: да что они в конце концов могут?..

Стадион пустовать начал, целые ряды не заняты, и на остальных свободных мест сколько хочешь. Болельщики бродят от одной кучки к другой — там огоньком разжиться, там стопочку хватить, а там душу отвести, поразговоривать.

Кто-нибудь знакомый тебя затронет:

— Ну, как тебе?

Ты вздохнешь нарочно:

— Да не говори.

— Они уже совсем перестали мышей ловить.

— Эт точно.

Тут кто-либо из друзей, стоящих рядом, взорвется после очередной оплотности нашего защитника:

— Нет, ты только погляди! Этот пижон Стасик приходит сюда с клюшкой только затем, чтобы бесплатно смотреть хоккей! Шайба летит рядом, а он стоит, чего-то ждет.

Разговор себе дальше:

— Да, а Стасик никогда не играл.

— Гнать бы, да...

— Вот в том и дело: кем заменишь?

— Да что ты с ними — бросились опять впятером, а ворота оставили... должен же какой-то порядок!

— А где он в нашем городе, порядок?.. Чего искать вздумал!

И кто-нибудь, мыслящий глобально, скажет чуть ли не со слезою в голосе:

— Нечего ждать. Нечего!.. Как были мы, братцы, Азия...

И тут уж — переход к другой теме:

— А слышали, вчера на комбинате? Один крупный специалист, видать, вырезал посреди стальной площадки круг в четыре метра диаметром... Посредине сидел и резал. Ну, и выпал потом вместе с этим кругом — хорошо, что ниже еще одна площадка, отделался легким испугом.

— Ну, мастера!

— Что ты — артисты.

— А на стройке — не слышали? Сейчас там такой бенц идет. Тоже сварщик. Скруббера же к нам скатанные на платформе приходят. Стальными полосками заварены. Их, когда разворачивает, не дает сразу развернуться — он же, как стальная пружина, этот скруббер. А они догадались: петлю еще не накинули, а уже почти все стальные застёжки посрезали. Ну и кэ-эк даст!..

— А сварщик?

— Да он как раз прикурить отходил.

— А бульдозерист?

— Да он как раз у бульдозериста и прикуривал.

— И бульдозер целый?

— И бульдозер. Только газоход рядом снесло. Вырвало метров сорок. Вчера полсмены вся химия простояла на коксовом, сегодня весь день — комиссия.

— Ну, работнички!

— Спецы, не говори.

Игра на площадке — глаза бы не смотрели. Тут и сам не выдержишь, подольешь масла в огонь:

— Да бросьте, братцы! Все бы они ворчали. В самом деле, что ль, мастера перевелись? Летом летал к геологам. Вертолетчики говорят: на базу не полетим, подбросим в один хитрый распадок — там у геологов тягач сломался, мы для него колесико повезем. А тягач починят, вы вместе с механиками — дальше... Опускаемся у тягача. Как-то странно стоит, на крутизне. Рядом двое механиков. Что, спрашиваем, случилось? Да ничего, говорят, просто на поллитру поспорили: выскочит на крутяк или не выскочит — видишь, там сосенка мешает?

Ударил, говорит, по этой сосенке, правое ведущее под траками и сломалось... Ну, вертолетчики улетели, починили эти ребята тягач. Что, спрашиваю, теперь поедем? Один момент. Вот только, говорят, доспорим. Включил на полную, и вперед. По сосенке ударил, сломалась она, выскочил вездеход на горушку. Водитель глушит мотор, высовывается из люка в кабине: ну, что я говорил?! С тебя, второму кричит, поллитра — с тебя!

В общем, приходили теперь на стадион уже не болеть, так — нужного человека увидеть, среди знакомых потолкаться, с друзьями посплетничать, узнать новости. Мужской клуб, да и только.

Единственный, кто по-прежнему играл хорошо и на кого еще ходили смотреть, был неизменный капитан «Сталеплавыльщика» Витя Данилов — Дания.

Пора, пожалуй, к нему вернуться, и так мы слишком надолго оставили его наедине с грустными думами.

Был Дания коренной, сталегорский, с Нижней Колонии, из тех бараков, в которых с недавних пор не живут и где теперь то обувная мастерская, а то прием стеклопосуды. В городскую команду взяли Данию еще школьником, помогли потом устроиться в металлургический институт, но он тут же перевелся на заочное и пошел работать в мартеновский. Работал там и играл, пошел в армию, там тоже играл, окреп и поднатаскался. Когда, вернувшись, выпрыгнул впервые на лед, на трибунах загудели дружно — был Дания тот и уже не тот. Вроде и не подросток и в плечах не раздался, но появилось в нем что-то особенное — то ли уже свой законченный почерк, своя игра, а то ли пока только уверенность, что эту свою игру, свою манеру найти ему уже удалось.

Он и раньше был с характером парень... Стоит, правда, написать такие слова, как многие тут же подумают: значит, своенравный паренек, ого-го, такого только затреть! Так вот, ничуть не бывало. А характер Дания в том состоял, что он всегда, в каждом матче до конца выкладывался. Он всегда играл мало сказать хорошо, играл прекрасно, как бы из рук вон плохо ни играли при этом остальные.

Не могу представить его стоящим на льду неподвижно! Как только он, почему-то пригибаясь, как бы складываясь в прыжке, перелетал через борт, как только делал какой-то странный — словно шашкою — круговой взмах клюшкой, начинался стремительный Данин бег, который иногда ускорялся настолько, что был похож на полет, а иногда слегка утихал, но не прекращался уже ни на секунду до тех пор, пока он не запрыгивал обратно. Во время вбрасывания — если не участвовал в нем сам — Дания медленно кружил, переваливаясь с бока на бок и кося глазами, а когда его подзывал судья, неторопливо кружил вокруг судьи. Сам же он, несмотря на то что был капитаном, никогда к судьям не подъезжал, никогда не спорил. Дания считал, что его дело прежде всего — хорошо играть.

Бегал Дания по-своему, почти никогда прямо, а обязательно наклонясь набок, как бы уже падая, но удерживаясь на последнем, одному ему доступном пределе. На сумасшедшей скорости он вдруг играл ногами, переваливался на другую сторону, и этот косой — всегда по дуге — полет продолжался, пока он был на площадке, бесконечно. Дания мчался, оставляя за собой тут же исчезающую из твоих глаз, но постоянно ощущаемую каким-то уголком памяти

странную, но красивую вязь, которая заканчивалась или неожиданным на первый взгляд прорывом через линию защиты, или почти невозможным по сложности броском... Только не заключите из этого, что Даня из тех самых хитрых паучков-одиночек, которые ткут себе свою паутинку, а на остальное им наплевать — как раз нет! Даже когда он мог почти беспроегрышно ударить сам, он отдавал ударить другому, если этот другой был в положении хоть на самую малость выгодней, и все самые острые комбинации начинал всегда он, и первым бросался кому-либо помогать или поправлять последствия чужой оплошности тоже он. Партнеры Даню часто не понимали, но он не обижался, не вспыхивал. Я думаю, что это неустанное движение его по площадке, эти бесконечные, как бы порою скверно ни складывались дела, предложения коллективной игры часто команду и выручали: это просто невозможно ведь — играть спустя рукава, если кто-то рядом постоянно на сто процентов выкладывается.

Он был как неумолимый дирижер, он постоянно втягивал в игру, он зажигал остальных, все прибавляя и прибавляя темп, пока на площадке не закручивалась вдруг всеобщая и в самом деле похожая на музыку вдохновенная карусель.

Нет-нет, потому-то и оставался Даня железным капитаном, что был он коллективист. Но как, не удержусь повторить, катался он, сукин кот, сам!

Бывало, среди самой средней игры на отбой или среди всеобщего напряжения — как когда — в нем словно начинала стремительно разворачиваться вдруг невидимая пружина, и он бросался к шайбе, забирал хоть у своего, хоть у чужого, и его уже ничто, казалось, не могло остановить — из любого конца площадки он мчался, ложась с бока на бок, обходил всех и забивал свою неперемнную в каждом матче, которую все так и звали: Данина шайба. К этому настолько привыкли, что, если игра не шла и кто-либо из болельщиков произносил неопределенное — да, мол, пока что-то ни шиша не выходит, — другой тут же откликнулся: «Одна-то будет!»

Имелась в виду — Данина.

Скажите, что я нарисовал почти законченный портрет игрока экстракласса. Но ведь именно таким игроком и был Даня! Всего лишь третьим — после двух именитых москвичей — вошел он в клуб «трехсотников» — хоккеистов, забивших по триста шайб, а в Москву его звали еще тогда, когда этих мальчишек, которые от нас теперь уехали, и близко не подпускали еще к дворовой команде. Звали, да только Даня не ехал. Одни говорили, что он хитрит, что парень он, несмотря на простецкий вроде характер, все-таки себе на уме. Зачем ему быть вторым в Риме, если в Галиции он первый?.. Тут у него и хорошая квартира, и «Волга», и маленькая дача за городом, и в любое время — путевка на всю семью в однодневный дом отдыха в Сосновом бору.



Другие говорили, что дело вовсе не в этом, он бы давно уехал, да жена против, а Даня был семьянин.

Роста он самого среднего, и лицо самое обыкновенное, даже простоватое лицо, к тому же все в шрамах, однако видели бы вы, какой был Даня красавец, когда с женою под руку он шел по проспекту Металлургов, следом за тремя своими маленькими мальчишками! Куда его шрамы девались. У него не лицо было — тихим счастьем светившийся лик. Иногда, правда, лик этот делался слегка виноватым, когда Даня, не спускавший глаз с ребятшек, не отвечал вдруг на чье-либо приветствие и жене приходилось толкнуть его в бок...

А жена у Дани что ж — она всегда была настоящая красавица, ослепительная и рядом с Витею и без Вити. И он ее, конечно, любил.

Не стану вслед за некоторыми повторять, что это из-за любви к своей Вике Даня не пил и не курил, скорее всего, он верил в себя как спортсмен, знал, что играет хорошо, и ему хотелось играть еще долго. Дело не в этом. Не знаю, может быть, надо было посмотреть на них на улице, когда они шли вдвоем, без детишек. Тогда почти с такою же счастливою улыбкой посматривал Даня на свою Вику, и снова она подталкивала его локотком, если он не замечал вдруг кого знакомого...

Спросите: что он, дома на нее не мог насмотреться, на свою Вику? Да ведь у нас выходит так, что дома видим мы своих благоверных, когда они стоят у плиты или стирают, или когда в косынках, покрывающих бигуди, как будто на голове у нее патронташ, и с каким-то невероятным кремом на лице, с маскою из яичного желтка на минуту присядут рядом с нами у телевизора...

Собираются куда-либо вечером, мы их торопим, нервничаем, и только уже на улице, когда они при полном, как говорится, боевом, и в самом деле вдруг замечаем: а ведь давняя твоя любовь — еще ничего!

Учите при этом, что Даня видел свою Вику куда реже, чем видим мы с вами своих жен, — у него ведь и горячий цех, и тренировки, и матчи в Сталегорске, и спортивные сборы за городом, и дальние выезды...

Можно было бы об отношениях Дани с женой судить и по тому, что Вика не пропускала ни единого матча, в одном и том же месте на той самой «руководящей» трибуне стояла со старшим из мальчишек или с подружкой, и где-то среди игры каждый раз бывал момент, когда делающий на площадке бесконечные круги свои Даня вдруг вскидывал вверх руку в рыцарской этой громадной перчатке, и в ответ тотчас же вскидывалась над трибуною белая шерстяная варежка.

Теперь-то, правда, доказательством привязанности Вити Данилова к своей Вике было то, что звонившие домой или товарищам наши хоккеисты рассказывали невероятное: Даня перестал играть.

Поездка у ребят только началась, впереди были самые трудные матчи, а вести из разных городов приходили самые неутешительные.

Счет, с которым наши проигрывали от игры к игре, становился все крупней, иногда они продували всухую — впервые в жизни Даня перестал забывать ту самую, в которой все были всегда на сто процентов уверены, — Данину шайбу.

Конечно, разговоры среди сталегорских болельщиков пошли самые грустные. Все почем зря костерили Хоменку — надо же было ему, и в самом деле, попасть под руку!

Жизнь — сложная штука, это все знаем, давно не мальчики, поди разберись, как там и что, но зачем же в чужой квартире, мил-человек, за телефон хвататься?.. Тебе, что ли, звонить туда будут среди ночи? Ты и днем-то, Хома, никому не нужен!

Тут, наверное, пора хоть чуточку сказать о Хоменке.

Он тоже коренной сталегорский, с Даней росли на одной улице, учились вместе, говорят, даже сидели на одной парте. Это Даня его в «Сталеплавильщик» и притащил, да только дела у Хома тут не пошли. Хоть играл он и хорошо, а временами, надо сказать, прямо-таки здорово играл, ребятам его манера не понравилась, потому что, как говорится в одной поговорке, Хома «тащил одеяло на себя». Ни паса никогда не даст, не подстрахует, не выручит, но глотка зато — ого!.. Начнут разбирать игру, и вся команда, оказывается, неправа — один Хома прав. Вернутся с выезда, и все ребята, вы понимаете, на комбинат, а Хома — в поликлинику за бюллетенем. В мартен приходил, считай, только первого да пятнадцатого, и то после обеда, когда открывалась касса.

И ребята однажды сказали Хома, что они, пожалуй, обойдутся и без него. И Даня не стал его защищать.

Может, тут-то черная кошка меж ними и проскочила? Теперь дорожки у друзей пошли врозь. Даня вскоре ушел из института, простосердечно заявив, что ему жалко бедных преподавателей: так они с ним маются, а толку чуть. В городе посмеялись с одобрением: ну разве это плохо, если человек понимает, что наука — это не для него, и если своим положением решил не пользоваться?..

Хома же в институт вцепился, как клещ в теля, и хоть тянул на заочном лет восемь или девять, диплом в конце концов получил-таки и на собраниях в мартеновском стал теперь об одном и том же: нельзя, мол, зажимать молодых. Капля, известное дело, камень долбит — сделали его мастером. И начали тут его, как эстафету, от печки к печке, из смены в смену. А когда все эти, какие только были возможны, перестановки закончились и все Хому раскусили, приняли мартеновцы мудрое решение: чтобы около печки под ногами не болтался, двинуть Хому по общественной линии.

Тут-то и получил Хома отдельный кабинет с телефоном, тут-то и стал, поднимая трубку, через губу говорить: «Хоменко слушает». И вот договорился!

Однажды пронесся по Сталегорску слух, что накануне поздно ночью примчался Хома в центральное отделение милиции, требовал немедленно послать к скверику, где памятник Бардину, патрульную машину. Оказывается, когда он шел через сквер, окружили его несколько хлопцев с гитарою и один спросил: «Сколько время?» Хома ответил как можно вежливей: без четверти, мол, двенадцать. «Не-не,— дружелюбно рассмеялся, который спрашивал,— скоко время тебе, Хома, жить-то осталось?..»

Ну, судя по хитроумным выкладкам социологов, этой очень немногочисленной — и говорить-то стыдно, и право! — прослойке сталегорских граждан сейчас, когда матчей в городе не было и наши проигрывали на выездах, жилось, конечно, тоскливо, и она себе, ясное дело, искала какого-нибудь такого занятия... Так что, по всей вероятности, Хома сущую правду в райотделе рассказывал. Только зачем же ты, парень, рассуждали в городе, напаскудивши да в милицию? Неужели хотел бы, чтобы тебя и к чужой жене и от нее на «черном вороне» отвозили?..

Но Хома и сам, пожалуй, вскоре до этого докумекал. Потому что однажды прошел он по проспекту Металлургов, сложенной газеткой прикрывая сияк под глазом, но комментариев по этому поводу, как ни пытались что-либо выяснить самые заядлые болельщики, ни от кого не последовало.

Но шут с ним, с Хомой.

С Даней, говорят, было плохо.

В толстяках он никогда не ходил, это ясно, а теперь долетали слухи, стал и совсем кожа да кости, и лицо сделалось черное. Предлагали ему, начальник команды в завком звонил, сходить в больницу в Омске, но он сказал, все в порядке, пойдет, если что, дома, а какой же порядок, если парня как подменили?

Приближался день возвращения «Сталеплавильщика», и в завкоме решили на всякий случай отправить пока Хоменко в командировку — подальше от греха. Тут как раз случилась оказия, а по профсоюзной линии поехал наш Хома на шестимесячные курсы.

Не Хома, а парень-удача.

## 2

Приехали наши поездом.

Встречающих, как всегда, было много, даже, пожалуй, чуточку больше, чем всегда,— кроме родных да друзей, пришли еще и те, кто хотел хотя бы одним глазком на Даню взглянуть: как он там?.. Держались эти последние скромней некуда, стояли поодаль, готовые ко всему: и кинуться, если что, к Дане поближе, помахать ему, крикнуть дружеское словечко, а то и по плечу похлопать и простоять в сторонке, не выдав себя, будто пришли они на вокзал совсем по

другому случаю. Но все они, конечно, неотрывно глядели на хоккеистов, молча ели глазами Даню, и больше были похожи на провожающих траурную процессию. Да так оно и было, как чувствовали! Хоронили сталегорский хоккей...

Даню встречали трое его мальчишек, которых привела на вокзал теща, и встречал старик отец. Вики не было.

И не было ее потом на стадионе, когда игры начались у нас. Вообще-то, громко сказано: игры...

Не знаю, каким словом назвать то, что происходило теперь у нас на хоккейной площадке. Кошмарный сон... Балаган самого дурного пошиба.

Наши играли настолько плохо, что приезжавшие в Сталегорск команды тоже были не в состоянии показать хороший хоккей — любое мастерство, любая стратегия тонули теперь в царившей на площадке безалаберщине.

И хуже всех, пожалуй, играл наш капитан.

Теперь, выходя на площадку, он больше не перескакивал через борт, а мешковато, поникший заранее, вываливался через калитку и медленно, опустив голову, ехал на свое место к центру. Кончился этот стремительный его косой полет — он не ходил больше кругами, не вертелся, как раньше, волчком, когда неожиданно тормозил, бежал неловко, еле полз, опираясь теперь носками коньков, или стоял, когда игра шла поодаль от него, как в воду опущенный. И падал он теперь некрасиво, и вставал со льда тяжело, и, кажется, впервые, подолгу не поднимался, если сносили его особенно резко. А доставалось ему теперь тоже как никогда, потому что есть, есть, что там ни говори, в спорте скорее всего невольная, но злая манера мимоходом «приложить» того, кто явно не в форме, — наверное, затем, чтобы себя почувствовать и сильнее и неукротимей.

Единственное, что в нем еще осталось от прежнего Дани, это терпеливое спокойствие, с которым он принимал все, что с ним только ни происходило на площадке. Он не взрывался, не орал на весь стадион, не разбивал об лед клюшку, как это почти постоянно бывало с другими, но теперь это все меньше было похоже на знаменитую выдержку капитана «Сталеплавильщика» и все больше смахивало на обычную понурую покорность — на Даню жалко было смотреть.

Он и раньше был не ахти какой говорун, а сейчас и совсем замкнулся, по улице ходил, сунув руки в карманы и уткнувшись в грудь подбородком, и никто его теперь не окликал, не затрагивал, только провожали, оборачиваясь, глазами.

На работе тоже к нему не лезли, только так, самое необходимое — жалели парня, давали время прийти в себя, что-то, может, решить...

Вики не видно было, говорили, болеет. Детишки гуляли с тещей или с Даниным стариком. Как там у них дома, никто ничего не знал, соседи говорили: в квартире тишина мертвая и повес головы.

Зато какие громкие разговоры шли теперь на трибунах!..

Слышали бы их бедные наши жены.

Вот, говорили, до чего довела Даню баба! Да если бы не она, его давно бы уже на руках носили в Москве. Из-за нее остался в забытой богом нашей дыре, и вот, пожалуйста, результат. Чего ей, Вике, собственно, не хватало... Так не-ет же, и тут распроклятая их натура взяла свое — ты ей еще и чего-нибудь остренького подай... И разве все они, бабье, не такие?

Это не шутка: я думаю, что в те дни, возвратясь со стадиона, а то и так, после разговора где-нибудь в курилке или за кружкой пива после работы, не один из сталегорцев будто ни с того ни с сего повышал вдруг голос, разговаривая со своею половиною, а то и припоминал друг ей какой-либо старый — она надеялась, давно позабытый — грешок, и недоумевающая половина терялась в догадках: это с чего бы?.. И не один, я это совершенно серьезно говорю, сталегорец сложные какие-нибудь запутанные свои отношения с дамою сердца вольно или невольно поставил теперь в зависимость от того, как и что решит со своими делами Даня.

Бедный Даня!..

Такие раны каждый лечит по-своему, это так, но разве не лучше было бы для тебя забиться куда подальше, чтобы ни одна живая душа не знала, где ты, только какая-нибудь бездомная псина рядом, и побродить в одиночестве, а может, посидеть у раскаленной печурки, отлежаться, не знаю, с неделю беспробудно поспать, но только чтобы в спину тебе ни единого взгляда... Или не дали бы тебе отпуск?..

Да ты скажи только слово, и ребята-охотники на тягушках тебя отвезут в какую-нибудь одинокую зимовьюшку рядом с Поднебесными зубьями!.. А может, стоило бы уехать в другой город — хотя бы на время?

Пронесся вдруг слух, будто старый товарищ Дани, работающий на Шпицбергене, прислал ему письмо, а через несколько дней оттуда пришла и телеграмма с вызовом — заместитель управляющего Арктикуглем тоже был свой, из Сталегорска.

Даня не полетел.

По какой-то там причине календарь уплотнили, игры шли чуть ли не одна за другой, и каждый раз он неизменно появлялся на площадке, сопровождаемый участливыми взглядами всего стадиона... Разве он не чувствовал на себе эти взгляды?

Правда, болельщиков вокруг ледовой площадки лепилась теперь горстка.

Вспомнить былые времена — сколько народу стояло тогда вокруг переполненного стадиона на улице — подняв одно ухо на шапке, слушали, по реву болельщиков или по наступившей вдруг мертвой тишине определяли, кто там кого. А теперь примерно выше пятого ряда уже было пусто — только здесь посреди заиндеветшего, давно не

топтанного никем железобетона горели маленькие костерки, около которых в минуты особой скуки на стадионе болельщики стояли спиной к площадке — а на что, мол, скажите, пожалуйста, там смотреть?..

Сперва сюда ломились поглядеть, как наши выигрывают, потом, когда перестали выигрывать, любопытно было иной раз взглянуть, в какой форме находятся москвичи — так ли сильно перед чемпионатом мира, как пишут в «Советском спорте»?.. Затем, когда скатились в класс «А», приходили посмотреть на Даню...

Теперь, когда Даня сломался, смотреть стало больше не на что.

### 3

Они появились в городе почти неожиданно. Там, в столице, только что учредили новый кубок, и какая-то добрая, видимо, душа вдруг вспомнила о блиставшем еще недавно «Сталеплавильщике» и решила в розыгрыш включить и его.

И вот москвичи неторопливо, словно прогуливаясь, по два, по три человека рядом шли далеко растянувшейся вереницею по проспекту Metallургов, и среди них шагали два бывших наших игрока — тоже теперь столичные жители...

Они пришли на стадион и встали, осматриваясь, у борта. Кто-то открыл дверцу и в меховых высоких ботинках с «молнией» на голяшке вышел на лед, не вынимая рук из карманов, попробовал слегка прокатиться, другой носком потыкал, третий просто понимающе кивнул, и все они вертели головами, поглядывая и на только что расширенное, с еле заметными полосками снега поле, и на пустые, такие неуютные здесь трибуны, будто целиком сделанные из бетонных лестничных маршей, и на низкое, заметно подкрашенное комбинатовским дымком хмурое небо.

А на них, знаменитых москвичей, с грустным любопытством поглядывали еще не успевшие уйти с площадки, разом переставшие шоркать метлами служители стадиона — сухонькие дедки в облезлых колушках да в телогрейках, в ватных, пониже спины оттопырившихся теперь, когда дедки разогнулись, штанах, в разношенных валенках... ах ты, эти дедки!.. В далекой молодости терпеливо кормили в холодных бараках вшей и отбивали себе ладони на жарких митингах около первых сталегорских дымов, по двадцать пять, по тридцать годков отстояли потом рядом с кипящей сталью, а на склоне лет, переживши случайно столько своих товарищей, открыли вдруг совсем-иной, словно малых ребят потянувший их к себе сверкающий мир... Собираясь на стадион проситься на работу, надевали пропахшие нафталином шевиотовые пиджаки со всеми регалиями, строго подкручивали усы, значительно посматривали на отражение свое в зеркале, а потом с директором, совсем еще по сравнению с ними

мальчишкой, разговаривали подрагивающими голосами и отмахивались отчаянно, когда речь заходила о деньгах — или не хватает, мол, пенсии, в том ли дело?!

С какою торопливой охотой со скребками в руках выбегали они потом на лед в перерывах между периодами, какой сплоченной шеренгой катили все вырастающий перед широкими совками лопат снежный бурун, с какой тщательностью заматали случайные огрехи, как поспешно убежали с площадки, когда выкатывался судья: если, случалось, при этом оскользались и падали, стадион пошумливал дружелюбно, шутливо покрикивал, а они, поднявшись быстренько, отмахивались и тут — экая, мол, беда! Лишь бы выиграли сынки.

О сталегорском хоккее, да и не только о нем, знали они теперь всю, что называется, подноготную и, как никто, пожалуй, другой, страдали душой за своих; но непросто прожитый век не отучил их уважать чужое достоинство, и потому сейчас, когда приезжие пробовали лед, кто-то стоявший к гостям поближе остальных спросил приветливо: — А что без бутуришка?.. Или кататься не будете?

И один из этих одетых в дубленки и в пыжиковые шапки красавцев, щедро улыбаясь, ответил:

— А стоит ли, дед?.. Зачем!

Пораженный старик бочком-бочком отошел к своему товарищу, и вдвоем они постояли, озябшие, пошвыркали носами, постучали ногой об ногу пимами, поахали, тут к ним третий подошел, а дальше, дело известное, в общем, вечером, когда стал собираться народ, эти трое стояли сразу за контролерами у входа, рассказывали завсегдатаям, которых всех знали в лицо, одну и ту же историю — о том, как москвичи не захотели-таки перед игрою «покататься». И грустные голоса были похожи на те, какими обычно старые люди приглашают пройти к столу на поминках.

Им в ответ понимающе головами покачивали: мол, ясное дело, дожили!.. Они и «Сталеплавильщик» только затем небось и включили в розыгрыш, чтобы кое-кому дать слегка отдохнуть!

Перед самым началом игры у наших случилась заминка, четверо полевых никак не могли дожждаться пятого, судья настойчиво свистнул еще раз, и тут, низко пригибаясь, через борт перемахнул Даня, лихо, как в былые времена, взмахнул клюшкой и, заваливаясь набок, по дуге пошел к центру. Судья нетерпеливо бросил шайбу, еще не дождавшись его, но Даня, потянувшись, каким-то чудом отнял ее, отдал вбок, бросился вперед, получил пас, одного и другого обвел, третий подставил ему подножку, и, падая, Даня сильно и коротко успел пробить — за воротами у москвичей мигнула красная лампочка.

На трибунах ударили в ладоши и замерли, не поверив: что за новости?

Москвичи головами покачивали и улыбались друг другу и снисходительно на наших поглядывали: некоторым — не станем уточнять, кому именно — всегда, мол, везет — факт известный.

Теперь они захватили шайбу прочно и, казалось, надолго, опять наши стали ошибаться, занервничал вратарь, которого уже и раз и другой спасло только чудо, но тут Даню, ходившего кругами, будто толкнула вдруг та самая, неудержимо распивавшая его изнутри пружина, он прыгнул к шайбе и с нею, все круче заваливаясь набок, бросился сломя голову через все поле, все только заоглядывались, и вот она вдруг — вторая!

Та самая, почти забытая теперь, Данина.

Теперь хлопали подольше, но все же как бы с опаскою: разве не знаем, как оно тут, на нашем стадионе, всегда бывает? Загорисься, поверишь в них, понадеешься — тем горше потом будешь переживать поражение... Не в первый раз — мы ученые!

А Даня, затормозивший так резко, что крутнулся как встарь, бывало, волчком, на один момент замер, бросил вверх руку в громадной этой кожаной перчатке, и тут же над полупустыми рядами метнулась ласточкой белая vareжка.

И заоглядывался, зашептал стадион...

И что-то, нечаянно щипнувшее у многих глаза, отразилось потом на лицах.

И стало очень тихо. И стало вдруг очень за что-то ничем не защищенное тревожно.

Коротко похрустывало под тугими ударами резины промерзшее дерево, потрескивал лед, чиркала, разрезая его, сталь, глухо одно в другое впечатывались тела, с густым шорохом, распростертые, мчались по льду, плющились о поскрипывающие борта. Шла упрямая, изредка нарушаемая лишь прерывистым дыханием да неожиданным чьим-то хеканьем немая борьба.

Странное дело: казалось, что Даня не принимает в ней никакого участия, что он постоянно занят чем-то известным только ему одному, чем-то, имеющим целью выиграть не только у чужих — у всех сразу.

Это был прежний Даня, с него уже не сводили глаз, и когда он совершенно неожиданно, издали всадил третью, и радовались без удержу и хлопали уже без оглядки: да пусть там потом хоть что, вы видели, человек заиграл?!

А гости после третьей начали грубить, стали друг на друга покрикивать, и стадион, всегда очень тонко чувствующий даже самый незначительный сбой в настроении чужих, хором начал свою жестокую борьбу, которая очень часто ранит куда больше, чем сам соперник.

Прежде всего сталегорцы взялись дружно освистывать «изменников».



Сколько произнесли мы до этого горьких слов, вспоминая вас, но и как мы всегда любили вас, братцы!..

И искали ваши фамилии в коротеньких спортивных отчетах, и в ожидании встречи с вами, бросив остальные дела, усаживались прочно у телевизора, ловили каждый взмах клюшки и расплывались в счастливейшей улыбке, если кто-либо из вас попадал на скамью штрафников и его вдруг крупным планом показывали, и, приезжая в Москву, шли на стадион, где болельщики дали вам уже свои, уже иные прозвища, и, не обращая внимания на соседей по ряду, кричали вдруг как оглашенные то, с чем вы бежали еще в дворовой команде: «Сю-юня!..»

Но нынче, ребята, другое дело. Нынче — в родном-то городе — похлебайте!

И не только при малейшей ошибке — при одном появлении «изменников» возносился над стадионом беспощадный унижительный свист.

С москвичами не было старшего тренера, наверное, не посчитал нужным ехать. Два его молодых помощника сперва перестали бывших сталегорцев выпускать на площадку, а потом велели им и вообще с глаз долой. И болельщики поняли, что это почти победа.

Может, это были звездные часы в жизни Дани, может, одна из тех почти невероятных случайностей, которыми так богата любая игра: четвертую шайбу он забил почти в точности так же, как первую, — в самом начале второго периода, на четвертой или на пятой секунде.

И восторженный стон, каким откликнулся стадион, не прекращался уже ни на единый миг до самого конца матча.

Не знаю, с чего это началось, но трибуны вдруг стали заполняться. Кто-то, наверное, прогуливался неподалеку по улицам и вдруг услышал знакомые победные звуки, кто-то другой позвонил на стадион узнать, как там дела, и тут же постучал соседу.

Снова открылось окошечко кассы, потом другое, и кассирши хлопотали за ними так торопливо, словно пытались вернуть все упущенные за долгий сезон барыши. Затем около касс столпилась длинная очередь. Затем стали стучать во все двери и требовать директора.

Сам бывший хоккеист, директор не оторвал взгляда от площадки, только приказал открыть все какие можно входные двери, повел рукою у себя за спиной. И к концу игры на стадионе давились так же, как тогда, когда «коробочка» была еще деревянной.

Говорят, что люди прибежали в пальто, накинутом на пижамы, а то и на теплое китайское белье. Не знаю, не стану врать. Но я своими глазами, когда уже расходилась потихоньку толпа, видел под ногами утерянный кем-то растоптанный шлепанец.

Но ведь было в тот вечер из-за чего чуть ли не босиком стоять на раскаленном бетоне!..

Даня после четвертой заиграл вдруг совершенно иначе — он снова стал капитан и снова стал дирижер. Опять он был в центре событий, опять распасовывал, помогал, подстраховывал, опять отдавал, как отрывал от сердца. И в конце концов ему удалось раскатать даже тех, кто и в самом деле давно уже приходил сюда с клюшкой только затем, чтобы бесплатно смотреть хоккей.

Во втором периоде наши забросили еще две.

Отдыхать в раздевалку перед третьим они не пошли: кто потихоньку катался, изредка побрасывая по воротам выехавшему запасному вратарю, кто стоял, окруживши посреди поля первого, кто, облокотясь о бортик, переговаривался со знакомыми на гудящих трибунах... Как знать, может быть, всем в команде очень давно уже так нужны были эти редкие минуты всеобщего тепла и дружеского участия.

В последнем периоде было тоже три сухих.

Девятую в буллите прямо-таки затащил в ворота сбитый перед этим вратарем гостей самый молодой игрок «Сталепплавильщика» — парнишка с виду совсем тщедушный, эдакий одетый для смеха в чужие доспехи сиротинка, и это и до коллик потешило напоследок сталегорцев и окончательно взвинтило гостей.

Когда под небывалый свист шагали они гуськом по черной резиновой дорожке, то последний похода, срывая зло, шлепнул клюшкой пониже спины стоявшего боком рядом с дорожкой Володю Минаева, и тот, обиженно моргая, сперва секунду-другую смотрел в спину уходящим, а потом сделал шаг и легонько хлопнул обидчика по спине. И тот не удержался и шлепнулся, и вслед за ним, так же, как стоящие рядком доминошные кости, стали валиться шедшие впереди.

Как он, этот последний, бросился потом на Володю!

Мальчик!.. Да ты хоть узнай сперва, кто такой Володя Минаев. Ты еще проситься не умел, а он уже привез из Мельбурна серебро, он чемпионом мира по классике был, мальчик, ты домой вернешься, сходи в библиотеку при своем клубе, полистай-ка газетки, ты журналы тех лет посмотри, тогда о нашем Володе много печатали — и как он западного немца положил, и как иранца, и турка, а я тебе пару слов о том, чего не найдешь в газетах: ты знаешь, как наш Володя, этот добряк и выдумщик, и один раз, и два, и потом уже всякий раз бросал на лопатки знаменитого Гамрикадзе, ты знаешь, мальчик, что у Гамрикадзе от Володи началась потом аллергия — это повышенная, мальчик, чувствительность при обонянии, при осязании, при общении, одним словом, с теми или иными явлениями из окружающей нас среды... Так вот о них двоих: Гамрикадзе в своей надменной, как у многих кавказских борцов, манере, проведя прием или просто отпуская противника, поворачивался к нему обычно спиной и уходил к краю ковра, не торопясь и при этом чуть морщась. И вот однажды, когда он уже уходил, но еще не успел поморщиться, Володя

быстренько вскочил, сграбастал его сзади и швырнул на лопатки — он ведь месяц перед этим отработывал в Сталегорске свой особый прием, который в кругу друзей называл «наказать фраера».

А потом был следующий чемпионат страны, и Володя, боровшийся с Гамрикадзе, сделав бросок, сам повернулся к сопернику спиной и медленно пошел от центра ковра...

И теперь вскочил, словно пружиной подброшенный Гамрикадзе, бросился к Володе, а Володя сделал только одно движение, и тот снова был на лопатках.

Потому что к этому времени наш Володя уже хорошенько отработал изобретенный им контрприем «наказать хама».

Это тебе только так, мальчик, для затравки, а у Володи вообще и светлая голова и руки золотые, он бы уже, знаешь, где сейчас — клюшкой бы его уже не достать, — если бы не общая наша беда, если бы хоть чуть поменьше друзей... За что же ты его сейчас? Только лишь потому, что это не сладко, вспыльчивый мальчик, проигрывать? А как же тут мы — всю жизнь, считай, в проигрыше и живем!

Нет-нет, маленький, надо уметь проигрывать, это, скажу тебе, тоже великое искусство, может быть, еще большее, чем искусство победы... А ты думал, Даня наш окончательно расписался, ты думал, в лед носком канадского ботинка потыкал — и это уже и все?..

Нет, мальчик, ты, наверное, просто не жил в таких, как наш, городах. Мальчику на запястье руку в перчатке положил стоявший рядом начальник городской милиции в погонах полковника и в высокой серой папахе. Без всякого намека, но очень вовремя негромко сказал: «Вы свободны».

Мальчик пайныка оказался, не то что наши болваны — говоришь ему, а от него, что от стенки горох.

Но вынесся из раздевалки ушедший первым один из молодых тренеров.

Полковник наш — дядька, и правда, деликатнейший, но, когда надо, и холодный, как лед, — учтиво пальцы поднес к краю папахи: — Комиссар Стрелковский. Позвольте заявить, видел собственными глазами. Придется свидетелем, если что...

И так же учтиво взял тренера под локоть, уходя с ним в глубь стадиона и переводя разговор уже на погоду — он ведь еще и большой дипломат, наш Стрелковский.

Зная, однако, любимый город, которому он отдал не один десяток лет, комиссар потом совершенно один — без какого-нибудь хоть завалящего старшины — как бы в глубокой задумчивости, руки за спиной, прогуливался около автобуса, в который садились гости. И ослепительно белая его «Волга» чинно следовала потом за автобусом на край города — почти до самых комбинатовских дач. Но это уж так, больше ради приличия, потому что в тот вечер в нашем

городе ну просто не могло ничего такого случиться — разве социологи наши даром едят свой хлеб?

Да тут и академий заканчивать не надо, чтобы понять: до того ли нашим болельщикам в эти счастливые минуты после победы?..

Опять валами по заметным улицам катили оживленные толпы, над которыми подрагивающим на морозе парком носился радостный разговор и носился смех, опять перестраивался на ходу, чтобы стать один к другому поближе, взять за локоть или просто потереться плечом, опять забегали вперед, чтобы друзей своих увидеть всех сразу и всем сразу что-то такое сказать и всем улыбнуться.

— Ну, эти совсем в конце расклеились!

— Обиделись мужики.

— Что ты — налились!..

— Сталегорск надолго небось запомнят.

— А видели, как Даня своих-то щенков школил?

— Даня капитан — какой разговор!

— А маленький этот, маленький!

— Серега?.. Куночкин?

— Не растерялся — закатил-таки!

— Это Данина надежда, мужики...

— А слышали, братцы, что Сюня хочет вернуться?

— Чего это он вдруг?

— Да после проигрыша сегодня, после проигрыша!

— Старики, говорит, здесь, а там пацаненка оставить не с кем, в садике, говорит, болеет...

— Взял бы тут молодежную!

— А институтская команда?.. А детская? Или тренировать у нас некого!

— Вот он и говорит.

— Хватилась бабенка, когда ночь прошла, этот Сюня!.. Чем раньше думал?

— Да нет, он парень ничего...

— А никто не говорит, пускай едет, разговор к тому — зачем уезжать было?

— А ведь можем, мужики, если возьмемся?! Ведь можем же!..

— Да, эти сегодня совсем в кусках были...

— Жалко смотреть.

— Чего там жалко, почаще бы!

— Вот погоди, оклемается наш Елфимыч, срстется у него ключица...

— И тут же заберут его в Новосибирск.

— Теперь не заберут. Этот сезон отыграет.

— Конечно, если бы нас не грабили... какую можно команду!

— Подожди вот, молодежная тройка заиграет.

— А Кряк вернется из армии?..

— Ну вот, а к этому времени и этот пацаненок из детской подрастет... Миронов, как его?.. Мирнев? Видели пацаненка?

— И ты не видел?.. Ну, за такого игrotchка!..

— А подожди, Серега Куночкин войдет в силу.

— Если опять не отберут. Думаешь, его уже не заприметили? Эге!

— А все-таки уделали сегодня пижонов!

— Наука будет. Думали, тут лаптем щи до сих пор...

— А давай-ка прибросим, мужики, какую можно команду, если всех наших...

И среди всеобщего этого ликования такая вдруг сердце сжала тоска!..

Что ж, что мы выиграли сегодня? Завтра мы опять непременно проиграем, ведь мы обречены на это — проигрывать. Радость эта сегодняшняя, как дождь в пустыне. Пьем воду, плещемся в ней, разбрызгиваем, а она уже уходит и уходит в песок. Когда еще бог пошлет?..

Однако нынче наш день.

Ведь если мы у тебя, Москва, не будем выигрывать, кого ты от нас потом возьмешь, что ты от нас получишь, у кого потом выиграешь сама?

Сегодня наш день.

Пускай нам завтра таких навешают, что и с собой не унесешь, не в этом дело — неужели у каждого только затем в руках клюшка, чтобы, и верно, пустили поближе поглядеть, чья возьмет?

Следующий день был воскресенье.

Утро выдалось ясное, с крепким морозцем, но то ли ночью опускалась на город летучая, почти мгновенная оттепель, а то ли начали еще в третью смену, сразу после выигрыша подтапливать мужички на комбинате — деревья по проспекту Металлургов стояли все в куржаке, и чугунные решетки были оторочены глубокой пушистой изморозью. Под этими деревьями мимо этих решеток неторопливо шел рядом с женою своею Викой капитан «Сталеплавильщика» Витя Данилов, а впереди них, обгоняя один другого, чтобы первым поспеть к накатанной посреди тротуара коротенькой ледяной дорожке, бежали трое мальчишек. Отец не спускал с них глаз, а маленького иногда и вовсе около себя придерживал, взявши за концы шарфа под воротником шубки, поэтому снова иной раз не замечал поднятых в приветствии рук, но сегодня Вике не приходилось толкать его в бок, потому что все, кто приподнимал руку, тут же дружески окликали: «Витек!..», «Данька, чертяка!..» «Виктор Ивановыч!..»

Город все понял и принял все как должное.

Это не шутка: многие из тех, кто вышел в то утро из дома погулять в одиночестве, увидев Даню с Викой да с ребятишками, извинялись перед друзьями, с которыми уже начали соображать, как повеселей провести остаток выходного, возвращались под

каким-либо предлогом домой и там говорили ворчливо не понимающим, откуда вдруг свалилось такое счастье, своим женам: «Такое утро, а ты, понимаешь, с детишками дома! А ну-ка, собирайтесь на улицу, сидите тут в духоте... Да одень парнишку получше, куда ты за старое пальтецо или нового нету, все б они сэкономили — нечего, понимаешь, приbedняться!»

И вышагивали потом по улице с отвыкшей ходить под руку женою рядом, и тоже поглядывали на детишек, и думали о Дане, и думали о себе: мало ли что кому приходится в жизни проглотить, может, в том-то и штука, как ты это проглотишь?

Даня молодец. Он всегда был парень что надо. Просто в этот раз ему пришлось трудней, чем когда-либо.

Но вот он прошелся по улице с Викою и с детишками, как будто ничего такого и не было.

Да, а в самом деле, а было ли?..

Эти, с междугородной, известное дело, — кумушки. Да стояла бы у них к тому же аппаратура приличная, а то так — осталась еще от царя Гороха.

Да, а мы, а мы-то не хороши?.. Рядом в семье у дяди Васи происходит такое, что не только на весь «Сталеплавильщик» хватило бы, осталось бы еще и для половины «Мосфильма». Да только это нам неинтересно, потому как дядя Вася, он кто? Он слесарь, конечно же, водопроводчик. А вот если вдруг что у Дани!..

И думали они о странном своем городе, где почти все устраивают свою жизнь около металла да угля, которые, как вода, как хлеб, необходимы всем вместе и сто лет, если разобраться, не нужны каждому в отдельности.

Но ведь родные города не выбирают, как не выбирают мать и отца.

### **«ХОЧЕШЬ, ДАМ СЮЖЕТ?..»**

У нас только пять утра. У них девять.

Поди, успел уже побывать на рапорте, где на этот раз обошлось для него, слава аллаху, без вливания, забежал потом в свой кабинетик, накинул на крючок пальтецо и руки потер, довольный: что бы такое теперь сделать?..

С Москвою в этот час девчата с междугородной соединяют запросто, потому что в такую рань никто сюда еще не звонит: беспокоить руководство дома не полагается, а родственников будить жалко. Со мною иное дело, я друг, да к тому же он хорошо знает, что я, когда работаю, встаю затемно. Вот и хочется ему ко всему вдобавок проверить, сию ли я уже за столом, а если еще в постели, то лишний разок подначить: мы, мол, тут, на переднем крае, давно уже чертоломим, а вы в белокаменной до сих пор там вылеживаетесь.

У меня вчера допоздна засиделись гости, тоже сибиряки, наши с ним общие товарищи. Уже после полуночи проводил их до стоянки такси, а после, дабы лишить жену стопроцентной возможности утром поворчать, добрый час еще убирал со стола и драил посуду. Ясно, я сейчас не работник!

Ему только этого и надо: «Спим, значит?»

И радости в голосе, радости!

С трудом приоткрываю один глаз: «Представь себе».

Как мало человеку надо!.. Медом не корми — дай над полусонным дружком поиздеваться: «А работать за нас — товарищ Пушкин?»

Я уже сел и пытаюсь ногами нащупать тапочки: «Александр Сергеевич, да...»

И много у него таких нахлебников?..»

Он прямо-таки захлебывается от счастья. А я зеваю: «Больше, чем ты думаешь, старичок».

Он меняет интонацию, голос у него становится деловой: «Хочешь, сюжет подкину?»

И я вдруг понимаю, что только потому он и звонит: с утра пораньше торопится меня осчастливить. Что ты тут будешь делать!

Сколько крови сообщи попортили они мне в старые добрые времена, когда наша Антоновская площадка еще называлась новостройкой! На каком-нибудь шумном вечере, в какой-либо бесшабашной компании все поют, спорят до хрипоты, помирают со смеху, а ты тихонько сидишь в углу, покивываешь сочувственно, а кто-нибудь проникновенно описывает тебе «всю свою жизнь с самого начала». Ох, я тогда этих застольных жизнеописаний наслушался!.. Потом, когда стали расспросами, кто в этих книжках есть кто, где в них Петров, а где Сидоров, и честно придуманные мною истории дополняли вдруг такими неожиданными подробностями, что мне и сказать-то было нечего — оставалось только руками развести. Теперь кто-либо из них нет-нет да и пришлет категорическое письмо и потребует от меня ответа: почему это я до сих пор так и не написал про Иванова?.. Когда наконец собираюсь написать?

А этот, не успел я, что называется, глаза продрать, спешит с готовым сюжетцем, — ну, спасибо!

Ясно, они убеждены, что сюжет в моем деле — это главное, а вот понять, что давно готовенькие, тысячу раз до тонкости обсосанные истории годами терпеливо ждут своего часа лишь потому, что мне, как говаривала мать, «за друзьями некогда», это понять, конечно, сложно.

«А хочешь, — говорю я в трубку, — подкину тебе сразу три сюжета? Или пять?.. Чтобы ты заткнулся и дал мне еще часок покомарить?..»

Но на него это не производит впечатления.

«Заправку эту, между поселком и городом, ты помнишь, — говорит все так же уверенно.

«Вчера было дело: стоит новенький «Жигуль» последней модели, а около него малый, весь из себя, ключиком на пальце поигрывает, очереди ждет... Тут подъезжает «Запорожец» — старый-престарый. За рулем дедок. Хотел «Жигуля» обехать и задел. Немножко чиркнул. Ну, малый этот заорал как резаный, к «Запорожцу» бросился. Рванул деда за грудки: ах, ты, кричит, гнилой пенек, — ослеп, что ли?! И по лицу... Захлопывает дед дверцу. «Смотри, — говорит, — сынок, как мы это под Курском делали!..» Задний ход дал, а потом ка-ак врежет по «Жигулю», тот аж подпрыгнул. Отъехал и опять ка-ак врежет!.. Малый вокруг бегаёт, благим матом орет, а дед знай долбит, только стекла сыплются да кузов трещит — то спереди поддаст, а то отъедет и по багажнику. Ему самому что, у «Запорожца» мотор-то сзади... Разделал, как бог черепаху. А тут и сто машин уже вокруг собралось, и милиция как раз подоспела. Остановили дедка: «Ваши документы?!»

За четыре тысячи километров от меня он на мгновенье умолкает — может, нарочно?

А у меня сон уже, конечно, прошел — я как тот самый полковой конь при звуке трубы.

«Так-так, — нетерпеливо поддакиваю. — Ну... и?»

«Герой Советского Союза дед. Бывший танкист».

И голос у него звучит так, словно герой он сам и бывший танкист тоже он.

«Нет, ты понял, о чем надо писать?! И он хмыкнул: мол, закис там!

Почему-то у меня мелькает: а может, это они придумали?.. Как это часто бывает — придумали всем городом вместе.

«Дальше-то что?»

«Что дальше? — переспрашивает он. — А ничего. Ребята-гаишники переглянулись, потом старший этому малому и говорит: сколько надо времени, чтобы «Запорожец» у отца стал как новенький?.. Чтобы — ни одной вмятины? Даем неделю. Через неделю доложишь, что все в порядке. А пока убирай отсюда свой хлам, не загораживай дорогу к заправке».

Я засомневался: «Так и сказали?..»

В голосе у него слышится легкое презрение: «А ты не знаешь Новокузнецк?»

Вообще-то это в характере города. Это его непримиримый нрав. Его вольный дух...

А может, все же придумали? Себе в утешение. Всем железным и дымным своим, всем знающим себе цену гордым Новокузнецком придумали эту сказку, где зло наказано и побеждает добро?..

«Когда, говоришь, это было?»



«Вчера. Мне Крошкин из автобазы позвонил, помнишь, вместе шишкарить ездили?.. Он как раз там был, на заправке. Расскажи, говорит, своему другу, вдруг ему пригодится. Так что получай от него — вместе с приветом...»

«И ему привет! — говорю я уже растроганно. — Крошкину. И спасибо скажи, спасибо!»

«Ладно, — говорит он вдруг сухо. — У меня уже люди собрались... Ну, салют. Покемарь еще».

И в трубке слышен щелчок.

Издевается?.. Затравил, а потом кемарь ему!

И пока я ставлю на плитку чайник, пока готовлю заварку, пока стою потом на кухне у окна и сквозь черное стекло пытаюсь всмотреться в еле заметную полоску осенней блеклой зари, снова и снова съезжаются они к заправке между поселком и городом — этот парень, который будет ключиком на пальце поигрывать, и этот бедовый дед... А почему, собственно, бедовый? Может быть, дело тут вовсе не в характере, а в степени, предположим, обиды или в чем-то совсем другом, мало ли, что я знаю о нем, кроме того, что герой войны и бывший танкист? Герои тоже по-разному живут. Как он-то жил?.. И как до этого жил тот парень? Где работал? О чем постоянно размышлял? Если, конечно, размышлял вообще. С кем дружил? За какие деньги «Жигуленка» купил? За свои трудовые? За папины? А может, машина и не его? У друга выпросил. Ситуация такая — позарез было надо. Или перегонял ее — товарища выручал? И тут эта досадная царапина!.. Нет-нет! Все равно нет. Неужели из-за царапины на холодной жестянке старика ударить — чье бы там ни было, да гори оно все огнем!.. Или это для меня жестянка? Потому что не мое. А для него — «ласточка». Родная. И в ней живая душа есть. Он в нее вложил. Свою душу. А старик?.. Пусть он и не герой. А при чем герой? Старый человек. Сынок вот назвал. Отец..

Или виновато наше торопливое время с нервными его перегрузками, под беспощадною рукою которых, бывает, мы сами себя не узнаем?.. Ну, просто стечение обстоятельств? Тот случай, когда люди почти бессильны это предотвратить? Электрический разряд. Вспышка. Которой, выходит, могло и не быть?.. Или не могло и не быть?

И в конце концов они непременно должны были встретиться — этот парень с новеньким «Жигуленком» и этот бывший танкист.

Вот они съезжаются опять. Вот навстречу друг дружке катят по узкой бетонке между поселком и городом — по той самой, которая когда-то, в тот давний теперь год, когда ее только сдали, казалась нам такою просторной... это была, скажу я вам, дорога!..

До этого на новостройку из города ездили по узкому мосту через Томь, по шоссейке меж старых тополей, весною стоявших почти по пояс в воде — через Топольники, — а дальше краем Старокузнецка в гору, мимо этой полуразрушенной церкви, в которой венчался

Достоевский и в которой потом был хлебозавод, мимо остатков каменной крепости — на самой макушке горы поставили казаки при Екатерине — потом спускались вниз и долго еще кружили по болотистой равнине между деревенькой Верхней Островской и Нижнею.

Бетонка по уступу на середине пологой гряды стрелою вылетела к остальным пролетам нового моста, но пока движение по нему не открыли, дорогу тоже решили не трогать, вначале и в конце поперек полотна поставили на попа бетонные кольца, а сбоку прорваться на нее можно было только на мотоцикле — одни мотоциклы по ней тогда и носились, да как носились!

Однажды в воскресенье — чего же время терять? — собрались мы еще засветло, и тут вдруг выяснилось, что нет пластинок, почему-то ездили в город со своими и там оставили. Начальник комсомольского штаба сумасшедший Юшков — мы с ним за двумя подружками ухаживали — мигнул мне и повел головою на стоявший под окнами его мотоцикл, мы, не раздумывая, спустились вниз, сели и рванули к бетонке, а там, уже за кольцами, когда он газу поддал, я как вдохнул, так только перед городом и выдохнул. Там я, понятное дело, нашел в себе мужество промолчать, но когда мы уже вернулись к своим, в компанию, все-таки не вытерпел: «Ну, Юра, чтобы я еще раз сел на мотоцикл с кем-либо чокнутым!..» Он только захохотал и стакан налил всклень — мы ведь тогда ох какие лихие были ребята, — а тут завертелся черный диск, под иглой цокнуло, зашипело, и выдавшая виды купленная вскладчину радиоло начала выдавать «Рио-Риту»...

Вот и опять я в нашем поселке. Вот и опять. Я тут часто бываю. Ох и часто! Днюю тут, случается, и ночью. А другой раз появляюсь хоть на минутку. Станет вдруг отчего-то тоскливо. Или не поймет тебя кто-нибудь. Да еще пухлым, никогда не выдавшим настоящей мужской работы пальчиком при этом вдруг погрозит... Очень тогда это помогает, тут же отправиться на Антоновку.

На этот раз мне припомнилось не ночное гулянье парами по отмоткам вокруг единственного пятиэтажного дома — среди вселенской осенней грязи. Не мебель из магазинных ящиков. Нет.

Припомнилась в этот раз рубаха. Знаменитая рубаха одного молодого спеца, обездившая и наши города и даже чужие страны. Обездившая в то время, когда сам этот молодой спец, ее хозяин Валера Нечаев, оставался в поселке и продолжал себе месить эту самую вселенскую грязь или тоже, как многие другие, делал бесконечные круги по асфальтированным отмоткам вокруг общежития номер один — разумеется, женского... Ах, что это была за рубаха! У меня потом завелось много всяких, но купить хотя бы отдаленно похожую так мне нигде и не удалось, нет.

Она была белая в мелкий черный горошек. И концы воротника имела округлые.

Но главное, конечно, не в этом. А в том, какая она оказалась чертовски крепкая!

Один показаться родителям невесты ехал в ней в городишко Анжеро-Судженск, который наши бывалые, со стажем без году неделя монтажники называли, конечно же, чуть иначе: Лос-Анжеро-Судженск. Другой летел в ней в Иркутск на совещание молодых строителей Сибири и Дальнего Востока. Третий выбивать поставки мчался в Москву.

Я в ней тоже ездил в Москву. Впервые в жизни — в издательство. Чрезвычайно вежливым, но очень настойчивым письмом пригласил меня добрый редактор Сякин. Потолковать о творческих планах, которых у меня, совсем в то время щенка, признаться, еще и не было.

Не знаю, что говорил Валера Нечаев, когда отдавал свою рубаху другим. Мне он тогда сказал: «Только не давай ей вина, договорились?.. Уж если что, лучше беленькой. Но я вообще-то уверен, что ей с тобой и так будет весело!»

Нет-нет, братцы мои, это была рубаха что надо!

А в прошлом году в Новокузнецке маленькая девочка в детском садике все плакала тихонько и плакала с самого утра, с тех пор как ее привели родители и оставили. А в полдень девочка умерла. И пришлось вскрывать. Она ведь перед этим совершенно здоровая была. Что случилось?.. А у нее, у маленькой, почки, оказалось, отбиты. Хрустальную вазу уронила она дома утром. И мать ее наказала. А отец не вступился, а добавил еще и от себя...

Вы меня простите, люди добрые, простите меня, новокузнецчане, что не скрываю, где эта история случилась. Тем печальнее, что уже за Уралом. У нас в Сибири...

И когда они съехались опять на этой бетонке, которая когда-то была такою просторной, когда нечаянно старик задел «Жигуленка», когда малый с колечком от ключика на пальце заорал и схватил его за грудки, когда старик захлопнул дверцу и руку его на рычаге скорости ударила давно забытая дрожь лобовой атаки, я, глядя в едва светящее окно, закричал ему с прикушенной немо губой: давай, дед!.. Спасай, пока не поздно, отец!

Потом был день уже с другими звонками, были обычные заботы. Была суета. Но нет-нет да и прерывал ее опять скрежет металла, вдребезги разбивал звон стекла, взрывали крики, и кусок за куском упрямо выстраивался сюжет, и хотелось немедленно все бросить и тут же сесть за него, и не вставать из-за стола, пока не будет готов рассказ о неистовой ненависти и неистребимой любви.

В этом моем сюжете был он никакой не герой. Вообще-то я уверен, что и тот, настоящий дед, тоже был не герой — героем он стал уже

после этого своего сражения около заправочной станции. Стал потому, что так захотелось городу...

Так вот, был он никакой не герой, а просто богом забытый инвалид и в самом деле бывший танкист. В ту ночь менялась погода, и старик маялся, пил валокордин и утром поднялся только затем, чтобы вызвать «Скорую», он ее уже вызвал, но тут позвонил ему из больницы старый товарищ, фронтовой дружок: дочь его, мать-одиночка, неунывающая неудачница, с мил-дружком собралась на юг, а крошечного сына с чужими людьми проходящим поездом отправила к деду. В полдень этот поезд должен быть на маленькой станции в сотне километров от города, но деда, такого же одинокого старика, с вечера прихватило, пришел в себя только утром и вот просил теперь выручить его, снять внука с поезда: больше некому. Этот бывший танкист хотел было заказать такси, но денег не хватило, все роздал до полочки голи перекаточной, своим молодым соседям, и вот тут-то он решает вывезти из гаража под окнами свой старенький, с ручным управлением «Запорожец», на котором давно уже в дурную погоду предпочитал не ездить, и по дрожащей от гуда тяжелых машин, по отчаянно сигналящей, но обматерившей его не один раз бетонке торопится к поезду и попадает в эту историю с «Жигуленком», и едет дальше уже в машине сердобольных — вчерашние бетонщики! — ребят из милиции, потому что собственная разбита, а самого его, конечно, трясет; потом рядом с водителем в форме появляется еще и сестра из «Скорой», так как вылезти из машины дед отказался наотрез, и они едут уже втроем, опаздывают, бросаются вдогон поезду и догоняют его на малюсеньком разъезде, где он стоит ровно одну минуту, и только уже с внуком своего старого дружка на руках дед позволяет себе расслабиться... только в чем это выразится?.. Как? Вот это я еще тогда не придумал.

Следующим утром он снова позвонил.

Будильник показывал чуть больше пяти, но я уже сидел за столом и, значит, тоже имел теперь моральное право разговаривать чуть свысока и как бы слегка насмешничать.

«Знаешь,— сказал он без предисловия,— назови эту историю, что я вчера тебе рассказал, «Последний бой». Ладно?»

«Да уж как-нибудь...»

И я хмыкнул и замолчал, потому что дальше могло последовать: сами с усами. Обойдемся, мол, без ваших мудрых советов.

«Это общая просьба,— проговорил он настойчиво.— Наша с Крошкиным».

А я сегодня был весел, как он вчера: «Ну-ну, если ты от имени трудящихся...»

«Он умер вчера, этот старик,— сказал он твердо.— Понимаешь, какое дело: инфаркт».

Опять они меня поправляли.

Но на этот раз я только ткнулся в грудь подбородком, опустил голову.

## СОКИ ЗЕМЛИ

И тогда я, сибирская вольница, обеими руками оттопырил расстегнутую почти до пупа рубаху и голосом загубившего не одну христианскую душу старого каторжника, который теперь готов был от умиления заплакать, а может, с ноткою потрясенного людской доброты вербованного блатного с нашей ударной стройки проникновенно сказал:

— Сыпь, бабуля, сюда!

Но она не тронула чашу на весах, а жиловатой сморщенной ручкою стала по одному переключивать яблоки мне за пазуху, переложила, и сухонькие пальчики тут же протянула к мешку, стала накладывать новую горку, опять с походом, да еще с каким!.. Неизвестно, что тут больше было чего: сам вес или этот ее походец.

— Ешьте, мой внучек, ешьте!

Говорила и кланялась.

А я стоял перед нею с душой нараспашку.

Милая бабушка, если б ты знала, что ты в нее тогда вложила!

Но в ту уже довольно далекую теперь пору яблоки твои были куда спелее того, что так медленно зреет в человеческом сердце.

Не поклонился тебе.

Только с открытой насмешкой поглядел на твоих соседей по базарному ряду — и на отпетое армавирское жулье, на поднаторевших армян-перекупщиков, и на тех, в ком высокая плетуха из драпи либо лыковый пестерь выдавали бывшего северянина или перебежчика-чалдона, переселенца совсем недавнего: только-только поднял свой сад, только-только что начал торговать — затем на жирные кубанские земли да под щедрое солнце и приехал!

Когда шел потом по базару дальше, у меня был видок школяра-недомерка после удачного набега на чужой сад — тугие яблоки оттягивали рубаху не только на животе и по бокам, но лежали и за спиною. Я выкатывал их оттуда по одному, и они хрупали на зубах так, что на меня оборачивались, это я помню, а думал я небось что-нибудь беззаботное: а чударесная бабка, и правда!.. Вот было бы законно, если бы она вдруг приехала на нашу Антоновскую площадку и стала там почти задаром раздавать свои яблоки. И я бы приводил на крошечный базарчик посреди поселка своих корешков, эту братву, которая съехала к нам на стройку со всех четырех сторон света, и от комсомольского штаба мы бы прямо там вручили ей какую-нибудь

грамоту — придумали бы какую, — а наши местные обдиралы да приезжие спекули тоже при этом воротили бы морды...

Вернись к ней скорее, парень! Поговори с ней еще чуток.

Нет!..

Разве мог я тогда предположить, что много лет спустя буду мучительно стараться припомнить и всякое словцо и каждый жест? Но останутся лишь общие черты того июльского дня.

Вот ранним утром с дальнего, набитого духотою поезда Новокузнецк—Кисловодск схожу я на сонном, но прибранном, уже с разводами от метлы, с пятнами после поливки перрончике и в безлюдном и тихом привокзальном буфете кружкой сытного пива праздную встречу со своею богатой, всегда цветущею родиной... Вот иду по уютным улицам белого буйной зелени, среди ярких цветочных клумб городка, вот выстаиваю длинную очередь за билетом на старой междугородной станции, от которой пыльные, прокаленные степными ветрами автобусы тряслись тогда в основном до окрестных хуторов да станиц... Вот какой-нибудь своей симпатичной сверстнице, больше для того, чтобы с нею позаигрывать, поручаю присмотреть за полупустым своим чемоданом да тощим рюкзачком, которые любому уважающему себя армавирскому вору не навязал бы и силою...

И вот иду по базару.

Знакомо вам ощущение, когда ископаемому, от которого по всем вашим понятиям давно уже остался один скелет, непостижимым образом удается с вас, полнокровно нынче живущего, лихо сдирать три шкуры?..

С таким ощущением ответственный секретарь любимой народом многотиражки «Металлургстрой», органа парткома, стройкома и управления только что переименованного треста «Сталинскметаллургстрой», член комитета ВЛКСМ ударной комсомольской стройки Запсибметзавода — первенца третьей металлургической базы на востоке страны, — топал в тот июльский день между рядами, за которыми пожилые, в капроновых шляпах граждане туго сложенными газетками — дабы и капля не унесена была безвозмездно — отгоняли от фруктов пчел...

И тут я увидел эту старушку, такую среди самоуверенной деловитости потерянную, и тут невольно спросил у нее, почему яблоки, и тут удивился: «А почему-эт, бабка, так дешево?!»

Она печально и тихонько сказала: «Да мне, мой внучек, лишь бы скорей продать...» И в голосе у нее послышалось столько простоты и сердечности, что никак нельзя было не спросить: а что такое, мол?.. Что случилось?

Может, ее нечасто об этом спрашивали? Редко с нею тут заговаривали? Или настроение у нее в тот день было почему-то особенное?..

Она пригорюнилась, проговорила вдруг так, словно мы с ней уже кто знает сколько знакомы:

— Случилось, внучек, еще давно... Еще в девятнадцатом. Когда у нас белые стояли. До этого, перед германской, хозяин мой яблоньку посадил, а тут она в первый раз уже хорошо родить собралась, стояла в самом цвету. А у меня доченька была... Младшая. Но что правда, то правда: бой-дивчина. Со старыми казаками заспорила, пошла им поперечь, вот и решили они ее проучить. К яблоньке к этой привязали и давай плетями... Пока, мол, от своего не откажешься, до тех пор терпи... А ты, по лицу видать, здешний, ты и сам знаешь, что такое норы казачий. Уж если уперлась, «брито», тут уж хоть кол на голове теши, а «стрижено» сказать не заставишь... А заступиться и некому: отец ее так на германской и остался, только и того, когда соседи домой повертались, два Георгия привезли... А братья далеко, аж в Крыму где-то, один у белых, а другой у красных верхами друг за дружкой гоняются... Ну, и забили до смерти. Только с невестками да с внучатами так я на всю жизнь и осталась... А на яблоньку, ну, как порчу кто напустил — даже если и зацветет когда, то и опупочка не дождешься, еще до этого облетит вся. Как память доченькина стояла, росла да матерела, бывало, гляну на нее — аж до неба стала высокая!.. А потом на меня, веришь, как затмение какое нашло: да что ж это она, думаю, всю жизнь без единого яблочка? Решила ее спилить да порубить на дрова. Уж и соседских ребят пригласила, и за бутылкой в селпо сбежала, и закуску на стол поставила... Слышу, а они уже пилкой: ширх-ширх!.. ширх-ширх!.. Тут я как закричу да из хаты как выскачу: ой, ребята, да простите меня, что я вас заставила, а меня, грешную, пусть господь простит — ну, как же я такое могла?! Да что ж я чуть не наделала?.. Угостила их и отправила, а сама слегла тут же да так сильно переболела, еле живая осталась, и наши и соседки все думали, это уже все... А яблоня весною как зацвела!.. Верите, вся станица приходила смотреть, как она цветет. Да как пошла родить, как пошла! Одно в одно яблоки, да такие душистые да вкусные, да не то что червяка внутри, а даже сверху никогда и комашки никакой на них нету... Я уж их и сушить дасылками, и знакомым раздавать, а много ты раздашь, если станица да почти у каждого своя хата да свой сад! Пропадут, думаю!.. Рази не грех? И первый раз в жизни давай собираться на базар... А как приехала да как посмотрела, какие тут цены да как люди по яблочку выбирают, да как у городских-то детишек глазенки блестят да слюнки текут, пока он дождетса, когда ему мамка яблочко в руки сунет... Чего я тогда только не передумала! И про доченьку свою. И про сыновей. И про яблоню. И про себя, старую да уж больную... И про весь белый свет. Про всех-всех. Это ж я, думаю, не раскумекала тогда, что и с яблонькою-то нашею тоже какое горе приключилось... Недаром же, пока они доченьку стегали, на ветках все до единого цветки пообсыпались. Может, бедное деревце от стона да

от крика людского тогда оцепенело? Может, в тот день и обесплодела моя яблонька? И уж когда только пилкой ее ребята поранили, тут она и вздрогнула, и в себя пришла, тут она и очнулась... А может, думаю, так? Только тогда она снова по весне и услышала, как от земли соки в нее опять ударили... И уж если, думаю, господь возвратил ей материнство, то моя доля — яблоки собирать да отдавать добрым людям. Чтобы ни одно не пропало. Ни одно не погнило. Грех!.. С той поры и радуюсь всякую весну и всякое лето потом маюсь. Другие яблони через год родят, а моя теперь — ну, каждое лето — без роздыха!.. Мне и в гору некогда глянуть: и нарвать-набирать, и на машину до города пристроить, и на базаре с утра до вечера отстоять... Оно и так бы людям тут сразу роздал, да и спасибо, что взяли, не погнушались, да только человек, он ведь, внучек, такой, что ему чем не дороже, тем вроде того что надежней, а если дешевле, а то и совсем задаром, значит, думает, что-то уж не так... И смотреть начинают, как будто у меня не все дома, а там и сторонкой старуху обходить. Вот и стою и продаю потихоньку. Чтоб не пугались да брали и у меня. Да еще чтоб дорогу до города оправдать, а то у меня другой раз, бывает, концы с концами не сходятся, такая торговка, а шоферам, им что, им бумажку отдай, а там как ты хочешь... Тут, правда, в последнее время один наш шофер, мальчишонка совсем молоденький, когда увидел, что не спекулянтка, стал ко мне относиться... Да он и под двор теперь подъедет, и сам бежит за мешками, и на базаре все скинет, а когда не спешит, да еще и весы на прилавок принесет, такой добрый да уважливый, а денег никогда ни копеечки... А что эти маклаки рядом станут, да я к ним уже привыкла, когда кто не так глянет на меня, а то, бывает, и крикнет, отвернуся да «Отче наш» про себя пошепочу, оно ко мне и не пристаёт — ни глаз дурной, ни грубое слово. Господь, он все видит. Спасибо ему, хранит... Так что не сомневайтесь, внучек, берите у бабушки, у меня они совсем дешево, только куда вы положите?

И тогда я достал из кошелька свой совсем не длинный, с комсомольской стройки, рублишко, положил на прилавок рядом с весами и обеими руками оттопырил рубаху на груди... А что касается голоса, то не свой он был потому, что я ведь тогда, молокосос и в самом деле считал себя уже всякое повидавшим бродягою, но тут вот вышла заминка — неожиданно навернувшиеся слезы вдруг щипнули у бродяги глаза.

Как поздно это все бывает потом, ну, как поздно!..

Помню, как во времена своего беззаботного студенчества, когда был дома на летних каникулах, я повез в соседнюю станицу, к сестре мою родную прабабушку, уже тогда очень старую, но еще и при светлой памяти и достаточно бодрую... Перед крутым подъемом она вдруг громко, на весь автобус, потребовала остановит, водитель зачертыхался, но стал, и я выскочил за бабушкой следом, думал, ей плохо, но она заспешила по обочине в гору, только за нею поспевай, а когда мы



уже догнали машину, сели на свои места и шофер, снова ругаясь, спросил, что такое случилось, она с укором ответила: «Вот интересные!.. Мы, когда на покос, бывало, ехали, всегда тут слазили с брички, чтоб легче лошадям... А если она теперь железная, что ее — и жалеть не надо?»

Вокруг нас, что называется, грохнули, а хотевший, видимо, что-то такое сказать шофер только поперхнулся и всю остальную дорогу оборачивался и лишь ошалело смотрел на бабушку, а я сидел рядом с нею красный, как вареный рак, мне было стыдно, мне казалось, что моя девяностолетняя бабушка перед всеми нас конфузила...

Потом, уже много лет спустя, я написал об этом рассказ, но все мне кажется, что до чего-то важного я в нем так и не докопался, что бабушка так и унесла с собой какую-то самую главную, может быть, человеческую тайну...

А так и не понятый до конца вздох отца посреди нашего с ним горячего спора? А неотвратимо ускользающая от меня улыбка матери, которая, хоть она, слава богу, и жива, после многих несчастий стала совсем другою, как стал теперь совсем другим и я, ее первенец?.. А тихий взгляд, а кроткое слово, а приподнятые сложенные щепотью персты многих-многих уходящих или уже совсем ушедших от нас других, как в старину говорили **преждепочивших**, кто делал, может быть, самую последнюю попытку наставить нас? Предостеречь? Охранить нас? Спасти?..

Меня тогда уже считали писателем, уже вышел с пяток моих книжек...

Однажды в декабре, когда отдыхали с женою на Кубани, мы с тестем поехали погостить к его старшей дочери, которая работала тогда колхозным зоотехником в станице Бриньковской. Был прекрасный солнечный день, теплый и сокровенно тихий. На линейке, запряженной двумя соловыми лошадками, мы с ним медленно тащились на ферму — сначала рядом с облетевшей лесополосою через пустые поля, а после мимо нестарого, в самой поре фруктового сада... Но странный это был сад!

Еще издавек что-то в нем не только казалось непривычным, но даже как будто настораживало, и мы сперва лишь поглядывали и на чернеющие среди сквозивших макушек усохшие комки неснятых яблук, и на обломанные понизу ветки, а потом я остановил лошадей, к кованому завитку на передке линейки привязал вожжи, и мы свернули с дороги, пошли меж деревьями.

Не знаю, как у кого, а у меня зрелище осеннего сада всегда рождает печаль. Правда, это печаль особого рода. Так и хочется написать: **возвышенная...**

И в самом деле, разве в ухоженном, до весны примолкшем саду вам не кажется, что все отдавшие людям деревья теперь не только благообразно-пусты, но и как бы полны достоинства?..

Здесь почти все многочисленные подпорки были не убраны, а просто сбиты и среди догнивающих, прикрытых коровьими лепехами, раздавленных яблок валялись в загаженной перекопченной отаве... Сад был разорен и ограблен и тем самым как бы бесконечно унижен.

Словно бы для того, чтобы поправить жиденские свои волосы, тесть мой, дослужившийся до подполковника, всю войну прошедший крестьянин, снял старую армейскую фуражку, но все же не удержался, горько и выразительно крикнул, и невольно рука моя тоже потянулась к берету на голове.

Вечером во время застолья, когда в доме сидели все главные специалисты колхоза и молодой председатель, чуточку хвастая, рассказывал о хозяйстве, тесть осторожно спросил:

— Ну, а сад вам дает что-нибудь?

— Дает! — хохотнул председатель. — В основном одни неприятности. Этим летом яблок было как грязи, а план у нас всего триста тонн. Отстрелялись за пару деньков, предложили было сдать еще столько же, а нам: нет, братцы, хорош! И так завод не успевает, тем более что яблоки у вас больно крупные, в давилку не входят. Скажите спасибо, что эти у вас приняли... Ну и что делать? Мы и туда и сюда, как говорится, а кому оно?.. Наше дело солдатское. Сказали, главное направление — зерноводство, ты руку — под козырек и — кругом!.. Сперва я шефам в город позвонил, пару разговоров они приехали, набрали, сколько душевнышка пожелала, потом шепнули своим людям, чтобы потихоньку яблоки рвали, да тут сразу нашлись мудрецы, комбайны на полосу побросали и — на ростовский базар, а кто с шоферами договорился да на холодильнике в Мурманск!.. Мне, конечно, выговорешник. А яблок, сколько уже ни брали — ветки не то что гнутся, а ломаются! — и посмотрел на хозяйку дома, руку протянул. — Может, у тебя в кладовке остались?.. Покажи, какие были!

Сам он вздохнул и стал закуривать, ладонью отогнал от себя дымок, но этот его жест был такой, словно он на что-то махнул рукою.

Из-за приоткрытой двери на веранду донеслось, как вылили в таз ведро воды, как шумно сыпанули в нее яблоки и под торопливыми пальцами хозяйки они заскрипели молодо и упруго.

Тяжелые и тугие, словно исходившие изнутри зеленовато-желтым свечением, в drobных каплях на красных крутых боках, лежали они потом посреди стола на большом эмалированном блюде, и, глядя на них, нельзя было не подумать об удивительной щедрости земли, так благодарно ответившей на мудрый выбор Природы, в клочковатом огнем бескрайнем мироздании предназначившей ей стать колыбелью живого, а может быть, и началом всего разумного...

— Так мы потом с ними что? — посмотрел председатель на погрузневшего моего тестя. — Принимаем решение пустить в сад молочное стадо... Неделю, а то и две коров туда как на выпас гоняли. Они и с веток снизу пообхватили и, хочешь не хочешь, все деревья маленько пообтрясли — какая за ветку дернет, когда яблочко в рот возьмет, а какая боком потрется...

— Молоко тогда яблоками пахло, — вставила хозяйка. — Такое вкусное! Правда.

— А напоследок загнали мы в сад свиней, — досказывал молодой председатель. — Чтобы они, значит, все, что еще осталось, подчистили...

Сидел я вместе со всеми за изобильным этим, который ломился от деревенских яств, столом, слушал разговор, смотрел и смотрел на горку яблок посредине, но мне, как это случается, казалось, что все происходящее нереально и что на самом-то деле я не здесь, а в дальнем своем сибирском поселке: который уже час вместе с другими томлюсь в длиннющей очереди за твердым, как дерево, венгерским «джонатаном»...

Вспомнил ли я в этот раз в Бриньковской об этой не покладаящей рук старушке с дорогого и самодовольного армавирского базара?.. Скорее всего, что нет, это тогда еще во мне не проклюнулось, а чтобы такое случилось, я еще должен был и не раз и не два увидеть переломанные плугом, брызнувшие на черный пласт перезрелым семенем запаханые помидоры, и вслед за колхозным агрономом из родной моей станицы Отрадной, школьным своим дружкой, должен был пройти через громадное поле замерзающей под ранним снегом свеклы...

Залубеневшими пальцами агроном разгребал мерзлую ботву, тыкал ногтем в верхушку корня: «Представляешь, она еще живая, а я уже ничего не могу поделать, нет, ты представляешь?.. Ведь председатель говорил же ему по-человечески: дайте нам сперва свеклу выкопать, а кукуруза обождет, никуда не денется... Помнишь, пацанами, бывало, в какие холода кукурузу жать на «ударники» ходили? Она любой мороз перестоит! А он нам: нет, и больше никаких. С меня, говорит, голову будут снимать за «королеву полей», если что, а уж если без вашей свеклы останемся — как-нибудь перебежмся!.. Заставил сжать первым делом кукурузу, а теперь свекла на глазах домерзает, а я уже ничего не могу, снег, — нет, ты представляешь, она еще живая?!..»

Случилось, выкормившую нас в тяжелое время войны кукурузу скоро разжаловали, и королевою стали называть уже свеклу, которая должна была нашу жизнь сделать слаще, и это ради нее потом, ради сахарной свеклы, жертвовали, бывало, картошкой, удивительно вкусной в предгорных наших местах, — недаром еще с давних пор и донныне приезжают в Предгорье хоть с солью, а хоть

с арбузами: менять мажару на мажару, бричку на бричку, прицеп на прицеп!..

А после на Кубани стал потихоньку силу набирать восточный прицеп — рис. И, чтобы не зависела Россия от капризов зарубежных соседей, кубанцы пообещали довести его урожай до миллиона тонн в год.

И, право, не удивился, если услышал бы, что на здешних чеках вода бывала часто куда солоней, чем где-то в иных местах — столько пота пролили тут мои земляки! Но тем больше кольнул затем сердце неторопливой, со все понимающей усмешкой рассказ: «Ты, друг, нас знаешь: уж если что пообещали, из кожи вылезем, а дадим... И тут так. Мало, что от нескольких предыдущих лет добрую заначку на всякий пожарный случай, как говорится, оставили, решили еще для подстраховки согнать на чеки со всех концов технику — какую можно и какую нельзя... Вся тут была! Ну, и собрали его до зернышка. И сдали вместе с заначкою, и правда миллион вышел — опять наша Кубань вперед вырвалась! Но сколько, если б ты знал, у нас за спиной всего остального так и сгнило неубранным!..»

Остановись!.. Не довольно ли?

Подумай, как потом тебя на Кубани встретят.

Как меж собою перегляднутся.

Что тебе скажут...

Или ты и в самом деле забыл, что за характер у всегда богатой и оттого, бывает, заносчивой твоей родины?

И вообще.

Разве ты уже давным-давно не прописан совсем по другому ведомству? По ведомству тяжелой индустрии. По черной металлургии, в частности.

Ну, и валяй в свой пропахший газом Новокузнецк! Не можешь сразу же взять билет — отправляйся хоть бы мысленно. И там, среди непробиваемо черных домен, которые понастроили твои корешки, да среди прозрачных, как стеклышко, образов твоей промчавшейся юности ты и успокоишься, и отдохнешь...

А ведомство-то лишь одно на всех нас: человеческая душа.

И если прорастает в ней, наконец, посеянное когда-то доброю и щедрою рукой, будущему стебельку, наверное, все равно, под чем он ударил в рост: под палым прошлогодним листом или только уложенным, еще горячим асфальтом...

Разве я виноват, что с каждой новой городской зимой я все явственней замечаю в себе как бы обратный ход времени?

Если пять, всего лишь пять лет назад при виде щеголихи в дубленке, расшитой цветными нитками, я мог подумать, предположим, о красках праздничного Брюсселя, в котором оказался когда-то в дни рождества, сегодня все чаще ловлю себя на том, что в подобном

случае не одним только обонянием, но словно всюю кожей ощущаю нутряное тепло снегами окруженного катуха, в котором на бабки привставшая над ягненком, только что увидавшим свет, еще слабая овечка умиротворенно слизывает с него тонкий студень поседа...

И самолеты самой новой конструкции все чаще уносят меня теперь не в завтрашний день, но в прошлое — дальше, дальше... Кому-то, кто устроен иначе, это, может, покажется странным, а то и вовсе смешным, но сам я нисколько не удивлюсь, если однажды — коли даст бог дожить — пойму, что сам себе я уже как бы дедушка, и как бы прапрадед, и какой-то еще очень и очень дальний мой предок... И все это вместе — я.

И я стоял в овощном магазине на Нижней Масловке, около Савеловского вокзала в Москве, между «Молоком» и сберкассой, стоял и смотрел на покатые эти полки, где в наклоне лежали и сморщенная, недоношенная земляе картошка, и вялая, замученная на складе морковь, и раньше времени усохший чеснок рядом с полураздетым, несмотря на холода, маленьким луком...

Кто устроен иначе, может мне не поверить, но как перед сиротами, покинутыми когда-то, я вдруг горько заплакал от жгучего стыда перед ними.

Кем они стали, господи!.. Кем они стали!  
Плач по вкусной картошке?  
Или по чему-то совсем другому?..  
И тут я, бабушка, вспомнил!

И хоть стоял на заледенелых ступеньках в башмаках на толстой резине, вдруг услышал, как ударил в меня тугой сок земли, как по жилам пошел, словно по живому ждущему дереву, как толкнулся в сердце и налил грудь, как плечи распрямил, приподнял подбородок, заставил вихрами тряхнуть непокорно...

Я и яблоньку твою вспомнил, и плетью забитую дочь, и сыновей твоих, которые где-то в Крыму с шашками наголо бешено мчатся друг другу навстречу. И, подумав о земле, вдруг спросил себя: не забыл еще, чем поливали?..

И вспомнил армавирский базар. И представил многих из нас за его прилавком стоящими. Тот справку о досрочном выполнении, которой грош цена, втридорога продает, а этот рапорт — скороспелку всучить старается... А и наш брат? Ему бы рассказ на двадцать страниц, а он тебе — трилогию на две тыщи. Другой за подсахаренный сироп как за настоящий мед требует. Третий и вообще стоит налегке, только кукиш держит в кармане — это и весь его товар драгоценный! — а цену-то ломит, а цену!..

А ты меж ними стоишь и уже дрожащей рукою яблоки мне протягиваешь за так: лишь бы, что земля дает, не пропало, лишь бы добрым людям на пользу.

А я шел домой, и складывался роман, в котором, как это бывает в минуту озарения, все так удивительно ладно вставало на свои места — как будто оно там давно уже и стояло и только часа ждало.

И этот молодой председатель из Бриньковской, и тракторист, который работал на рисовых чеках, в романе были бы твои правнуки, все бы жили под Армавиром, в нашем родном Предгорье, и они сидели бы утром за ранним завтраком, и председатель, старший по возрасту, мудренько выспрашивал бы про заначки, а младший бы пил молоко и радовался после долгой отлучки: «Не, а кажется, яблоками пахнет, и правда... Сказано — дома!» А ты бы повязывала перед дорогой простую косынку, а мимо этот добрый мальчишка, разглагольший тебя шофер, таскал бы в свою машину скрипучие мешки с тугими яблоками и ставил бы их осторожно один к одному...

Но пока соберешься!.. Опять же: зачем разбавлять? Да и будем ли живы?

А пока ты, я твердо уверен, жива. Может, эта яблоня и дана тебе, бабушка, на долгую жизнь. Потому что ты, праведница, просто не сможешь умереть, пока она весною цветет и летом дает плоды. Пока подрастают яблони помоложе...

Низкий поклон тебе, милая бабушка, издалека!

\* \* \*

И когда я уже закончил писать это свое воспоминанье и дал прочитать его младшему сыну, выросшему не в одном краю, а во многих — маленькое перекати-поле, так и бежавшее вслед за отцом, за перекати-полем побольше, так и бежавшее — по всей-то России! — сын спросил, уже в самом начале оторвавшись от строчек: «Что такое походец?»

Стал ему объяснять: это когда на весах чаша с товаром перетянет другую, которая с гирьками. Понимаешь?.. Предположим, просишь ты килограмм, а тебе от щедрого сердца положили чуть больше — мальчик, бери, жалко, что ли?!

Он, как ни грустно, с детства слышать другое привык. Когда, не имея времени сами, отправляли с женою егэ в магазин, оба мы наставляли: в очереди будь посмелей. Да смотри, чтобы тетя тебя не обвесила!

Потому, когда я рассказал про походец, он с сомнением спросил: «А такое бывает?»

Слово, мальчик, придумал не я. Это старое слово. От предков. Так бывает. И так быть должно.

## КОЛЕСОМ ДОРОГА

*Ю. Казакову*

Среди моих книжных полок есть одна такая, на которой лежит всякая всячина, и Леонид Федорович, когда бывал у меня, каждый раз непременно напротив этой полки останавливался, заложив руки за спину и слегка склонив голову набок, с носка на пятку покачивался, насмешливо говорил:

— Так-та-ак!.. Значит, растет коллекция? А может, все-таки дать пионерам адрес? Утильсырье, скажу я, по этим цацкам да-авно плачет!

Брал с полки тяжелый, с неровными краями медный пятак, взвешивал его на ладони, и лицо у него становилось при этом такое озабоченное, словно был он не председатель колхоза, а какой-нибудь тебе оценщик из Вторчермета.

— Граммов под пятьдесят... зачем он тебе?

Я терпеливо начинал рассказывать.

Как-то мне пришлось с недельку прожить в одной казачьей станице. Хозяева мне попались приветливые, большие охотники о том да о сем поразговаривать, и однажды, когда зашла речь о старине, Мария Васильевна, хозяйка, достала этот пятак из шкатулки, положила передо мной:

— Вот, возьмите, если понравится. В огороде нашли, когда картошку копали.

Отчищали монету, видно, без особого упорства, она так и осталась темною, и сквозь прикипевшую к чеканке ржавчину пятнами проступала глухая прозелень, но края вензелей на одной стороне и двуглавый орел на другой местами оттерлись хорошо, и медь была здесь такого теплого и густого цвета, что уже одно это, казалось, должно было говорить о древнем происхождении.

— Мы тогда две нашли,— сказала хозяйка.— Вторая еще больше этой, прямо — вот такая! Дочка дома как раз была, помочь приезжала, так она к зеркальцу из своей сумочки приложила — ну точь-в-точь! Кто бы другой сказал, что раньше — такие деньги, ни за что б не поверила!

— Так, а где она у нас? — спросил муж.

— Да Трофимыч забрал,— и снова обернулась ко мне.— Сосед наш. Я как раз на улицу вынесла, показать, а он шел. Дай мне, говорит. Я и отдала. А зачем она ему?

— Может, старинные деньги собирает? — спросил я.

— Трофимыч-то? — удивилась хозяйка.— Да ну! Он, слава богу, ни старинных, ни нынешних не копит — старик веселый.— И как будто впервые задумалась: — А зачем же он, в самом деле, брал?

Небольшого росточка дворянка во дворе у Трофимыча не только не лаяла, но, вытягивая передние лапы и пригибая морду к земле, пятилась, повиливая задом, дружелюбно помахивала хвостом, словно приглашала войти.

— Ах ты, моя умница! — ласково сказала Мария Васильевна. — Ну, походи, шумни своего Трофимыча, походи, шумни!

Собака перестала пятиться, трусцой побежала мимо крыльца, обогнула дом и только там, в глубине двора, и раз и другой заливисто гавкнула.

Улыбнувшись, я покачал головой, а хозяйка моя, довольная, объяснила:

— На уши тугой стал, так она, верите, чуть не за штаны его приведет!

Трофимыч выслушал, вытягивая шею, ни о чем не спросил. Мельком посмотрел на меня, а потом снова перевел взгляд на Марию Васильевну, вытянулся перед нею в струнку, выпятил грудь и повернулся нарочно лихо — видно, подчиняться ей он привык, и подчеркнуть это было ему почему-то приятно.

Вернулся он с пакетиком из пергаментной бумаги, молча протянул его мне, и я сразу почувствовал: что-то не так. Пакетик был подозрительно легкий.

Развернул я шелестевшую бумагу, а в ней лежит аккуратнo отпиленный кусочек от пятака. Край его еще не успел окислиться и сверкал так ярко, словно монету затем и резали, чтобы посмотреть, какая чистая медь внутри.

— А остальное? — удивилась Мария Васильевна.

Трофимыч выпятил грудь в облезлой рубахе, и лицо у него стало значительное. Шевельнул обвисшими усами, и большой красный нос его тоже задвигался.

Громко сказал:

— Сжавал!

И усы его снова заходили под красным носом.

Я припомнил, что говорила о Трофимыче хозяйка, и настроился на веселый лад:

— Это как же?

А он поднял вверх заскорузлый палец с прокуренным ногтем, и лицо у него стало еще более важное:

— А я тебя научу! Перво-наперво квасной гущей — чтобы, значит, даже гуск от ее отлетел. А потом так: за лоскуток будет цепляться, дак ты лучше на чистой бумажке. Терпужком по ней: вж-жик! вж-жик! А потом подсыпай да ешь. Другой кто норовит, конечно, с медом, а то на пряник, но это не про нас, а? Наше дело мужеское: на горбушку вместо сольцы — да за обе щеки!

Я все улыбался, ожидая, чем же шутка закончится, а у Марии



Васильевны лицо сделалось растерянное, под конец, видно, готова была руками всплеснуть:

— Что это ты не в ту степь, Трофимыч?

Он вскинулся:

— Это как не в ту? Как раз — в ту! Любой перелом тебе закроет...

— Тебе про Фому, а ты про Ерему! Человек вот стариной интересуется...

Трофимыч сообразил, видно, раньше нас, и глаза его сузились от смеха:

— Во-он оно — ну, дела! Да, а ты разве, Марьюшка, не знала, зачем я у тебя медяк брал? Вспомни, когда это было? Ну? Когда я сарайчик заваливал да руку себе и поломал. Так? Так! А ты как будто не знаешь, что медь в таком разе — первейшее дело? Это нынче чего только не напридумывали, а то, бывало, как? Лишь бы фельдшер на место поставил, а срастется тебе само, только медяшку точки да ешь. Лишь бы красная была.— Трофимыч взял из бумаги, которую я все еще держал на ладони, опилочек пятака, повернул ярким срезом.— Как эта, видишь? Корольковая!

— И надо забыть, а? — голос у Марии Васильевны был виноватый.— Меня еще и тетка учила покойница!

Старик снова выпятил грудь, приподнял подбородок, и вид у него опять стал нарочно лихой:

— А говоришь, за Трофимыча никто уже и поросенка не даст!

Вот и лежит на моей полке только один пятак из чистой меди. Было бы два, да только второй, видите, «сжал» веселый старик Трофимыч.

Друг мой покачивал головой и, глядя теперь под потолок, усмехался:

— А тот самовар? Что без крана?.. Небось на полке не поместился?

А это был не такой простой самовар.

Дело в том, что внутри у него между трубой и стенками стоят две тонкие перегородки, один бок отделяют от другого. Пожалуйста, в одному боку ты вари, предположим борщ, а в другом — кашу. Первое тебе и второе. Зачем тут кран?

Зато при этом самоваре есть особая латунная ложка. Черенок у нее длинный-предлинный и загнут вверх, чтобы доставала до дна. А носок очень острый, такой, что в любой уголок тебе заберется.

Этим самоваром я очень гордился, всем показывал, а потом как-то была у нас в гостях старушка, увидала его и сама попросила достать со шкафа. Долго рассматривала, трогала сухонькой, в морщинах ручкою, рассказывала нараспев:

— Это я, когда еще молоденькая была... Отдали замуж. А бедность! А надел дали в степи тоже рядом с молодыми, только те из богатых. И вот у них два самовара, один обыкновенный, чай кипятить, а другой — как этот, она говорила, в а р н о й. Обед готовить. Вот он, хозяин-то ее, бывало, косит, а она ему прямо тут и первое, и второе,

а потом сидят, да еще чаюют. А у меня один-единственный чугунок — все хозяйство. И нынче степной суп, и завтра, и послезавтра. Он другой раз ест да в ту сторону, на соседей, поглядывает, а меня не то что завидки берут — за бедность свою обидно. А потом одна старушка мне говорит: да моя детка! Я тебя научу. Холстинка у тебя есть? Сшей себе небольшой мешочек, чтобы чистенький. Помыла крупу, в него засыпала да и клади в борщ. И будет тебе, детка, каша. И картошку на толконку можно так же варить, и яички — чтоб долго за ними потом половником не гоняться... Так я, вы верите, приспособилась — было бы из чего! А он ест тогда да похваливает, да на меня смотрит и глазами смеется. — И задумалась, и вздохнула. — У меня хороший хозяин был.

И смотрела она на старый самовар, и припоминала, видно, еще что-то, и от немудреного ее рассказа повеяло на меня давно отошедшей жизнью, нелегкими ее трудами и заботами...

Леонид Федорович слушал меня внимательно, но с лица его не сходила насмешливая улыбка. Опять клонил голову к плечу и с носка на пятку качивался, потом тянул руку, двумя пальцами один за другим приподнимал рядком стоявшие медные колокольцы. Слегка потряхивал, и каждый из них отзывался своим особенным голосом, — я мог угадать, не глядя, когда какой он берет.

— Ну, а это тебе зачем?

Как тут сразу все объяснишь...

Лет десять назад, когда я жил еще в Сибири, мне надо было побывать в одном таежном селе. Стоит оно далеко в горах, и попасть туда можно только по реке. Летом по ней бегают моторки, а зимой, когда она замерзает да заносит ее глухие снега, по реке накатывают санную дорогу. Обычно по этой дороге мы добирались на лыжах, а погода, когда снег начинал чиреть, ходили пешком. Однако на этот раз у меня был тяжелый груз, пришлось попросить у геологов лошадку.

Ночевал я поэтому в просторной избе у древнего, но крепкого еще старика, который занимал должность с громким названием: начальник конного двора. Любопытный это был старик! Сколько времени с тех пор пролетело, а я все вспоминаю его — и с добром, и с запоздалою благодарностью...

К своим обязанностям, видно, относился он до крайности строго, оттого и разбудил меня почти в середине ночи да еще поворчал малость: некоторые спят, мол, себе и сладкие сны видят, когда им давно уже надо быть в пути. Я наскоро умылся и схватился было за рюкзак, но старик повел меня в горницу, усадил за стол и чаевать заставил, не торопясь.

Чай был душистый, на травах, с крупитчатым белого цвета медом да с калиновым вареньем, и пил я с наслаждением, то обжигал губы, а то радостно отдувался, а старик сидел напротив, покуривал и опять

почему-то ворчливо говорил, что, не подкрепившись, в дальнюю дорогу пускается в тайге только непуть да нерадельщина — неужели и я такой?

Запряженная одною лошадию кошева уже стояла у ворот, и мы умостили в ногах мой груз — рюкзак да небольшой ящик, — а потом старик пошел в избу и вернулся оттуда с тяжелым, на великана, овчинным тулупом. Расстелил его на хрустом сене, кивком велел садиться, а потом бормоча что-то невнятное, помог мне укутаться, поднял высокий воротник и слегка хлопнул по спине: поезжай, мол!

Пока мы укладывали вещи, лошадь иногда перебирала ногами, и я и раз и другой различил еле слышное позвякивание, но что это такое, не догадался, и лишь теперь, когда сани тронулись, с удивлением вдруг понял: колокольчик!

В морозной тишине он ударил под дугой тоненько и звонко, и сперва я почувствовал себя так, словно нечаянно обронил что-нибудь в спальне доме — невольно вытянулся и замер.

И странная случилась штука: прислушивался я к ночному миру вокруг, а уловил что-то в себе самом... Почудилось, будто мне, городскому жителю, это так хорошо знакомо — и залистый бой колокольчика, и тугой стук копыт, и острый скрип под полозьями, и простуженный лай, который лениво, будто по надоевшей какой обязанности, перекатывался из одного края деревни в другой. Черные избы со светлыми от снега крышами, редкие, в морозной роздыми огоньки и долетавшие ко мне теплые конские запахи — все, что память тайно хранила с далеких пор, медленно выплыло теперь из глубины забвения, и, как всегда, когда припомнится сокровенное, на душе стало и светло, и чуть грустно.

За те несколько мгновений, пока лицо мое обжигала колкая стужа, неясная тревога ушла, и, когда я снова спрятал голову в воротник и откинулся на спину, мне уже казалось, что все вокруг так и должно быть, и так и было всегда — всякий раз, когда студеною ранью выезжал я из деревни на этой лошади с колокольчиком...

Бывает, ничего такого не произойдет, но ты вдруг почувствуешь удивительное умиротворение, и тебе станет не то чтобы тепло и уютно жить на земле — просто с небывалой дотоле ясностью ощутить, что на ней ты не случайный гость, а необходимый связной между теми, кто был и кто будет, что ты не сирота во вселенной, а счастливцев уже только потому, что допущен к разгадке тайны и время твое еще не истекло...

И память твоя потом особенно бережно будет хранить то, что видел вокруг в счастливые минуты внутреннего согласия, и все это еще и не раз, и не два припомнится тебе, когда тебе отчего-либо станет горько или заболит душа.

Всегда теперь вспоминаю, как тянулись мимо меня черные, в серебряный куржак закованные леса, слегка приподнятые по обоим

берегам призрачными сугробами, как все ближе подступали и выше вздымались таинственным светом осиянные горы, как стыл над ними пронзительно синий небосвод и высокие звезды иглились и помигивали, и оттого, что лошадка дергала сани, как будто покачивалось мироздание.

Она бежала неторопливой рысцей, и тогда колокольчик бил старательно, вызванивал весело и бойко, и тоненький его, но настойчивый голосок то возносился вверх, а то рассыпался далеко по сторонам. Потом лошадка, отдыхая, переходила на шаг, звон слышался реже, становился мягче и словно печальнее, спотыкался вдруг, замирал совсем, и мысли мои то старались поспеть вслед за убегающими в бескрайнюю тишину медными переливами, а то замедлялись тоже, на сердце было и грустно и светло, и хотелось, чтобы дорога еще долго не кончалась.

Перед рассветом мороз ярился, и всякий крошечный комочек снега взвизгивал под полозьями, слышалось, будто от стужи поскрипывает лед на реке и потрескивают деревья, но я так и не озяб, и волглая от моего дыхания овчина на воротнике около губ по-прежнему, казалось, тепло пахивала и душистыми травами, и медом, и еще чем-то очень домашним, летним...

Теперь мне видно стало иней на спине да на холке у лошади, и потемневшие от долгого бега ее бока, и легкий парок от дыха. Мне захотелось ободрить лошадку, и я раз и другой ласково ее окликнул, и после этого мне все казалось, будто она как-то по-особенному трянула головой.

Потом она начала фыркать чаще, и обострившимся чутьем я вдруг угадал, что, должно быть, близко жилье, стал вглядываться и вскоре у подножия сопок вдалеке увидел утонувшую в снегу крохотную деревеньку, белые крыши и высокие, одинаково ровными столбами, дымки. В предрассветной сини еще мерцали над ними крупные звезды, висел круторогий месяц, и, может быть, оттого маленькая эта деревенька выглядела совсем сказочной, и мне тогда показалось, что я, пожалуй, нисколько не удивился, если бы вдруг увидел впереди перебегавшую через дорогу лису, которая за темные леса, за далекие горы уносила бы под мышкой такого же огненно-красного, как сама она, петуха...

На обратном пути, возвращая лошадку, я поблагодарил старика, занимавшего у геологов эту самую должность начальника конного двора, и похвалил колокольчик.

— Однако, звенючий, да,— сказал старик и посмотрел на меня недоверчиво.

А мне понравилось слово, я с удовольствием повторил:

— Ох, звенючий!

Косматые брови у старика дрогнули, и глаза потеплели. Сделал мне знак и молча пошел в глубь конюшни.

На больших крючках, вбитых в бревенчатую стену, я увидел аккуратный ряд хомутов да уздечек и только потом, когда старик протянул руку, заметил вдруг связкой висевшую тяжелую гроздь колокольчиков. Он снял их со стены, и они отозвались разногласием и коротко.

— Полюбуйся, однако, если понравится...

Колокольцы были на недлинных ремешках, и я перебирал их, разглядывал, и даже так, у меня в руке, каждый из них звякал хоть совсем негромко и глухо, но все равно по-особому.

Я заговорил об этом, и старик вдруг заволновался, положил всю связку на тяжелый, из тесаных досок стол, начал развязывать поводок, которым были стянуты колокольцы.

— Знать бы! — сказал огорченно и очень дружески. — Я бы тебе рядок целиком повесил — тешься!

Развязал наконец ремень, и мы с ним оба стали перебирать колокольцы, и то он звонил, я прислушивался, а то позванивал я, а он жмурился, поднимал суховатый палец, совсем прикрывал глаза, и лицо у него было такое, словно слышал он при этом не только негромкий перезвон, который раздавался сейчас в полупустой конюшне, но и что-то другое, доступное, может быть, только ему одному.

Отводя звонки на вытянутую руку, я все присматривался к ним со стороны, потом заглядывал в раструбы, а тут вдруг поставил на ладонь и по краю вокруг ушка увидел литые буквы.

— Что-то написано?

— Истинно так! — в голосе у старика послышалась гордость. — Все с паспортом!

И, пока я пытался разобрать полуистертые буквы, он называл по памяти:

— Этот из села Пурех, однако, бывшей Нижегородской губернии. Там его родина. Не соврать бы, пурехские мастера не только олово в сплав добавляли, но и серебра другой раз не жалели — а ну, возьми-ка на слух!

А я открывал для себя все новые подробности:

— Они, выходит, под номерами?

Лицо у старика было торжественным:

— Истинно так! По голосам были. С подголосками. Под дугой звонцы, а на сбрую шаркунчики. Каждый свой звон по вкусу ладил. Заводские язычки снимали, сами такие била придумывали, что за версту слышать. Старые люди сказывали — уши, бывало, наостришь: Филя, угадывают, едет. Один. Видать, отказали ему в суде. Или там что другое. А это Матвей! Иван ли. И по колокольчику было знать, как в город съездили. Почему купил? Почему продал? Колокольчик, бывало, поперед мужика все расскажет!

— А как же они у вас сохранились?

— Увлечение у меня вышло... Сперва один попался. Починил я его, приладил. После другой. А потом любопытствовать стал, у людей спрашивать. Ботала начал делать. Если у кого на скотине, я ботало ему самодельное, а он — колокольчик. Везде искал. Другой раз, можно сказать, до конфуза доходило,— опять зажмурился и покачал головой.— С цыганами связался, у них на что только не выменивал. А тут ребята наши прознали. Кто куда едет, обязательно спросит: звонцов нету ли?.. Да ты приезжай к нам, однако, на масленицу, сам увидишь. Прокатиться будет такая очередь, что тройки не успеваем менять! — глаза у старика заблестели, он совсем, видно, разволновался и отчего-то растрогался.

Наверное, слушал я его внимательно, что ли, — он вдруг махнул рукой, как будто на что-то решил, и вздохнул, и запербирал похожие на нераспустившиеся цветы медные кругляши.

— Я тебе дам, однако. Маленький. Гормотун. Шаркунец, выходит. Бубенчик.

С этого и пошла моя коллекция.

А потом в разных сибирских селах разыскал я еще несколько колокольцев, и среди них есть даже один валдайский, очень звонкий и с бойкой надписью: «Купи, денег не жалеи, со мной ездить веселей!».

Может быть, для кого-либо это и в самом деле неинтересно — не знаю! Для меня же безмолвно стоявшие на моей полке медные колокольчики были как бы замершие отголоски былого.

Все это я пытался объяснить моему другу, и он внимательно слушал, не перебивал, но улыбка его так и оставалась слегка снисходительной. Что касается старины, общего языка мы с ним так и не находили.

Потому-то я и удивился, когда однажды он позвонил мне из своего села и стал настойчиво звать меня приехать немедленно.

— Ты знаешь, какой я раскопал тут для тебя самовар? — спрашивал громко, и голос у него при этом был такой возбужденный, будто самовар стоял перед ним на столе в кабинете. — Нет, знаешь? Ты такого в жизни не видал и никогда не увидишь, если не выедешь прямо сейчас же!

Я давно уже собирался побывать в предгорьях, и надо ли объяснять, что долго уговаривать меня теперь не пришлось.

В маленьком самолете, который летел до районной станицы, я почти не отрывался от окошка и с улыбкою думал, что если даже Леонид Федорович разыграл меня и вместо старинного самовара готовится показать новую электрооильную установку, ничего не потеряно, и хорошо, что я выбрался, — по крайней мере, поезжу с ним да поброжу пешечком по тем местам, которые мне нравятся и в которых я не был уже давненько.

Очень близко внизу ярко желтели еще не успевшие потемнеть от дождей пустые поля, аккуратно расчерченные рядами лесополос, уже

заметно тронутых багрянцем и кое-где поредевших. Далеко тянулись крапленые жухлыми пятнами кустарников рыжие холмы, одинаково ровно освещенные сиянием осеннего полдня, а за ними виднелись ослепительно белые горы, и оттого, что не было дымки, представлялось, будто они совсем рядом. Голубое небо над ними было тихое и высокое, и временами начинало казаться, что все внизу давно уже терпеливо ждет, скоро ли перестанет дребезжать наш самолетик, и когда он сядет наконец, прервет свой рокот и пропеллер его замрет, тишина установится просто небывалая.

На аэродроме меня ожидал «газик». Водитель был знакомый, мы тут же разговорились. Я не удержался, спросил про самовар, и шофер рассмеялся:

— Леонид Федорович как знал. Если, говорит, станет расспрашивать — молчок!

Это еще больше укрепило мои подозрения насчет розыгрыша, и я потом только посмеивался, когда друг мой, который никак не мог вырваться из кабинета, пробовал утешать меня:

— Ну-ну, ничего, сейчас еще одно доброе дело сделаем и — туда! За твоим самоваром.

В колхозные мастерские мы приехали часа в четыре. Председателя во дворе тут же окликнули, и, пока он разговаривал, я все поглядывал на громадное здание с широкими окнами, коваными дверями и со стеклянным фонарем над плоскою крышей: какой-нибудь тебе заводской цех, да и только! Уж в чем другом, а в размахе отказать моему другу было никак нельзя. Только чем же здесь, любопытно, хочет он меня удивить?

На бетонном полу мастерских в косой полосе солнечного света стоял громадный самовар.

И правда, мне никогда не приходилось видеть таких больших самоваров — он был никак не меньше иного бочонка, но прямые бока, крепкие и довольно высокие ножки, фигурный верток на кране, ручки, висевшие замысловатыми серьгами. — все это придавало ему вид не только стройный, но как будто бы даже и франтоватый. Одна сторона самовара горела яркою медью, а другая постепенно гасла в тени, и легкая от блеска резная конфорка была на нем словно корона.

Еще издали, почти от порога, я различил повыше крана еле заметные очертания окружностей и невольно ускорил шаг. Наклонился, разглядывая совсем почти затертые профили, и Леонид Федорович сказал за моей спиной:

— А ты как думал? Все как следует быть. С медалями.

А я в восхищении водил по ним пальцем:

— Н-не ожидал, признаться...

Голос моего друга набирал гордости:

— Тульской, скажу я тебе, работы. Настоящий русский самовар.

И совсем целехонький, ты только посмотри. Тут, правда, была

небольшая вмятина, да наши хлопцы постарались. Ну, и шик-блеск навели...

В мастерских только что скрежетало, било да погромыхивало, а потом шум сделался тише и совсем смолк. Все теперь собрались вокруг самовара.

— Ребята, Федорыч, проверяли. Три ведра входит. Ровным счетом.

— Ага, широкие такие ведра.

— Чтобы такой выпить, надо всю родню собрать.

— И то небось не одолеешь...

— Да, а какая нынче родня? Это раньше...

Народ стоял вокруг самый разный, были и пожилые мужчины и помоложе, и два совсем юных паренька, почти школьники, но, любопытное дело, все говорили сейчас не торопясь, все рассуждали одинаково степенно и с достоинством.

— И то правда. Нас, братьев, трое да одна сестра, а отец мой девятый был, вот теперь и суди.

— Да он где-нибудь в трактире небось стоял.

— Или на постоялом дворе, а что? Забежишь с морозу да стаканчиков пять-шесть...

Я уже огляделся и теперь улыбнулся невольно: все-таки странно было видеть этот самовар посреди стоявших вдоль стен новеньких станков рядом с разобранными тракторами, за которыми виднелись черные, подвешенные на таях моторы.

— Где вы его действительно раздобыли? — спросил я у председателя.

— А-а! — протянул он торжествующе. — Говорил тебе: где еще такой? — и почему-то вздохнул: — Ладно, забирай! Твой.

И вид у него при этом стал такой, какой бывает у человека, который решил-таки отдать тебе что-либо, но по глазам его ясно видно, что сам он уже твердо решил собирать то же самое.

Председательский «газик» был восьмиместный, с двумя сиденьями по бокам, и Леонид Федорович попытался было определить меня впереди, рядом с шофером, но я отшутился, сказав, что место это, так сказать, руководящее и что я к нему не привык. Он тоже не остался в долгу:

— Ты теперь небось и спать будешь ложиться, а самовар у постели ставить. Ну, так и быть, посиди там с ним, посиди!

И я теперь легонько придерживал самовар, пока «газик» лихо скатывался с одного холма и поднимался потом на другой. Когда мы выбрались с окраины и поехали по селу, я хотел заговорить со своим другом и тут заметил, что лицо у него сосредоточенное и левая рука слегка подрагивает. У Леонида Федоровича такая привычка: когда он начинал о чем-либо сам с собой рассуждать, ладонь его тут же оживала — то приподнималась чуть-чуть, а то покачивалась, и пальцы на ней туда-сюда пошевеливались.



И я промолчал и из-за плеча его стал смотреть на асфальтовую дорогу впереди и на дома по обе стороны широкой улицы.

Село это, расположенное на самом гребне одного из прикубанских горных отрогов, было старое, но за последнее время очень изменилось. Мазанки исчезли совсем. Тут их, как в некоторых других станицах да хуторах, не оставляли дотягивать свой век рядом с новым жильем, и большие кирпичные дома за штaketными заборами стояли один к одному, виднелись в глубине дворов крепкие постройки, и только сады за ними, уже наполовину облетевшие, оставались еще те же — с громадными раскидистыми деревьями, которым не было конца-краю, потому что выходили они в поля за селом или исчезали за краем гребня.

Я припомнил наши старые споры с Леонидом Федоровичем, припомнил, как он говорил не раз: «Вот ты эти колокольчики — понимаешь — бубенчики, знаешь, почему собираешь? Да потому, что в городе живешь со всеми удобствами. А к нам бы переехал, тогда бы сразу узнал, что почем. От всего этого старья, что нас за ноги пока держит, не знал бы, как избавиться. Дай ты человеку, предположим, электрический сепаратор — будет он тебе держаться за деревянную маслoбойку?» Глядя на новые дома, я не без улыбки теперь подумал, что здесь-то деревянных маслoбоек давно уже не осталось: и где только Леонид Федорович раздобыл этот самовар? И почему так им гордится? Уж не из-за громадных ли его размеров, которые во вкусе любимшего размах моего друга?

Председатель концами пальцев приподнял шляпу на затылке, и она съехала на лоб. Глаза, когда повернулся ко мне, были у него уже беззаботные.

— А знаешь-ка! Я, пожалуй, выкрою этот выходной. И поедем-ка мы куда-нибудь на вольный воздух, попьем чайку из твоего самовара. Уж больно вкусно ты про это дело рассказывал!

И в воскресенье мы высаживались из «газика» около большой скирды соломы, стоявшей на меже у самого леса. Вытащили сумки да корзины с провизией и посудой, достали всякие такие, какие можно постелить на земле, пожитки, а потом сыновья Леонид Федоровича стали выгребать из-под сидений мелко нарубленные чурки.

— Стоп! — приказал Леонид Федорович, когда они взялись было за самовар. — Пусть стоит. Садитесь, будете придерживать. Сейчас мы съездим, нальем воды.

Старший из сыновей, мальчишка лет двенадцати, с таким, как у отца, широкоскулым лицом, тоже лобастый и с серыми глазами, начал уговаривать:

— Пап, ну, дай я съезжу!

Леонид Федорович коротко сказал:

— В другой раз.

— Пап, ну ты же обещал, только что говорил, сейчас нельзя, люди, а когда приедем...

На Леонида Федоровича обрушился поток таких горячих слов, что он только головой покачал и вылез из-за руля. Поднял вверх палец, сказал строго:

— Но — смотри!

— Да что, в первый раз? Ты же сам знаешь...

— Слушай сюда! — остановил Леонид Федорович. — Поедешь к этому родничку в Семеновской балке, за старой фермой. Только с этой стороны подъезжай, где лесополоса, потому что та дорога крутая, там самовар опрокинется. Слушай сюда! Не вздумайте надрываться, его вытаскивать. Ведро есть. Только хорошенько вымоешь. Прямо в машине зальете, и все дела, — и опять нахмурился и поднял палец. — Но — смотри!

Младший Леонида Федоровича, мальчик лет девяти, сел придерживать самовар, а на переднем сиденье рядом со старшим устроился его ровесник — худенький и большеглазый сын агронома. На руки к нему стала проситься сестренка, хорошенькая, лет трех или четырех, но ее не пустили, оставили отчаянным ревом провозжать отъезжающую машину.

Место, куда привез нас Леонид Федорович, было чудесное. Около нашей скирды кончалось поле со щетиной стерни и обрывался прозрачный по-осеннему лес, а сразу за соломой начинался густо покрытый пожухлыми травами крутой спуск, волна за волной катились вниз порыжелые склоны, темнели от дымки, которая держалась на дне широкой долины. Узкой полоской петляла внизу река, то серебрилась под солнцем и отсвечивала, а то погасала и пропадала за складками, а дальше, уже на той стороне, уступ за уступом опять поднимались кверху бурые холмы, окаймленные синеватой цепью далеких гор, за которыми поблескивали остроко-нечные пики снежников.

Вглядываясь в них, мы долго стояли на краю гребня, а потом принялись устраиваться на соломе около скирды. Первым делом расстелили громадный брезент, вокруг которого тут же засуетились женщины, выкладывая на него из корзин да из сумок всякие вкусные вещи. А мы брали охапки соломы и рядом с брезентом укладывали их, чтобы удобнее было сидеть.

Мне вдруг почему-то захотелось показать, что я, хоть и городской человек, в деревенских делах тем не менее разбираюсь, и я попробовал пошутить:

— Вообще-то непорядок, товарищ председатель! Скирду выложили, а рядом еще целый воз остался!

Утаптывая солому, Леонид Федорович улыбнулся:

— Непорядок был бы, если бы я не приказал оставить здесь этот самый воз. Думаешь, одни мы такие мудрые, одни мы красоту

понимаем? Захотят тут другие посидеть, вот и начнут, брат, скирду раздергивать. А тут нарочно оставили: толкись!

Мне осталось только руками развести.

Жена агронома, полная, с красивым, но грубоватым лицом, посчитала нужным сделать едкое и, прямо сказать, выдержанное не в изысканных тонах замечание, что такая трогательная забота о ближних не очень способствует сохранению нравственности в округе, и со значением посмотрела на своего мужа, но все дружно пропустили ее слова мимо ушей.

Леонид Федорович прошелся вдоль соломенной гривки, подбил ее сапогом. Застелил потом старыми одеялами и с чувством исполненного долга заявил:

— Мужчины могут пока и отдохнуть!

С буркой в руках пошел поближе к скирде, кинул ее, держа за край, каким-то особым образом, и она раскатилась, косая и черная, как вороново крыло.

— Прошу!

Я не сел.

Приминая рыжие бугры около скирды, я сперва поднялся чуть выше, остановился, раскинул руки и опрокинулся навзничь... Что ты тут будешь делать! С детства люблю солому, люблю ее цвет, такой солнечный, и запах, такой земной, люблю трогать ее руками, люблю ощущать, как она щекочет шею или покалывает возле уха... Пошевелившись, устраиваясь поудобней, и все примнешь, и, глядя вверх, вдруг притихнешь. И покажется вдруг тебе, что лежишь ты на облаке — потому и нет над тобой ни единой тучки, а есть только голубоватая от беспредельности высота...

Прошло уже достаточно времени, а «газик» все не возвращался. Первая забеспокоилась мать Леонида Федоровича, тетя Даша:

— И где это наши водовозы?

Жена его, Антонина Петровна, тут же откликнулась:

— А то вы их не знаете, мама! Машина будет стоять, а они будут играть.

Сказала это как можно беззаботней, и все же чувствовалось, что успокаивает она не только свекровь.

— Да хорошо, если так, — вздохнула тетя Даша.

На агронома глянула его жена, и он тут же спросил:

— А это какой родник? В Семеновской балке их раньше два было.

Леонид Федорович нарочно сладко потянулся, видом своим давая понять, что все волнения напрасны.

— Я вот думаю, что зря мы сегодня шашлычки не сообразили. Чай чайком, а...

Стал рассказывать что-то веселое о приезжавшей недавно комиссии, и я без конца расспрашивал его и первый смеялся, но

и у меня на душе было беспокойно: не случилось ли чего, в самом деле?

А потом Леонид Федорович выговорился, и установилось такое молчание, когда ясно, что все думают об одном и том же, да только не хотят понапрасну друг друга волновать. Антонина Петровна все чаще поглядывала на мужа с неммым вопросом, но он делал веселое лицо, отворачивался и только потом украдкой смотрел на часы.

Тетя Даша не выдержала:

— Чует сердце: что-то не так!

И заговорили все:

— Может, с машиной что-нибудь, Леня?

— Да бросьте вы паниковать, новая машина!

— Или родника этого не нашли...

— Хуже нет, когда отпустишь одних, а потом думай.

— Ну, как это не нашли? Под землю ушел?

— Ну, за Алешу нечего беспокоиться, не впервой, а вдруг те за руль попросились да стали баловаться...

— Исключено. Не даст.

— Или встречная машина...

— А они ведь народ какой? Им так скажи, а они, как нарочно, все наыворот.

— Да мало ли, это машина, а не конь... чует сердце!

Леонид Федорович притворно зевнул:

— Да что вы, ну, куда они денутся! — и кивнул мне. — Пойдем-ка. Без костерка, оно как-то... Поищем дров!

Я чувствовал себя виноватым. Все-таки стоило кому-то из нас поехать с ребятами. Да только ведь тут надо знать Леонида Федоровича: система воспитания у него особая, потому и доверил сынишке «газик».

— Если только раздатка полетела, — сказал он, когда мы зашли в лес.

— Ну, а водит Алеша...

Он не дал мне договорить:

— Да что ты! Все лето меня возил, хоть трудовни, ей-богу, начисляй. Знаешь, у него башка на этот счет. Что случится, мой шофер ему: а ну, Алешка! Он лезет под капот... ты понимаешь, талант у парня к этому делу! Прирожденный механик, не то что я! — и усмехнулся, снова переходя на беззаботный тон. — Недавно ехал из района. Один. Вдруг забарахлил мотор — стоп! Я туда-сюда, ничего понять не могу! Навстречу машина, я руку тяну: помоги, друг! Вылезает он, под капот рукой ткнулся, не глядя: давай! Заработала. А он мне кричит: ты кого возишь? А мне стыдно стало. Говорю: председателя! А он: передай своему председателю, чтоб он таких шоферов, как ты, — поганой метлой! Взащей гнал!

Мы посмеялись, но обоим нам было не очень весело.

А у скирды и вообще царил повес головы.

— А вдруг на самом деле пересох — а бог его знает? — пригорюнившись, говорила тетя Даша, и в глазах у нее стояли слезы.— А они один искать да другой, а потом вздумают на речку — много ли ума? А там же такие кручи; раньше, бывало, когда на быках ехали, и туда и оттуда с подводы слазили. Одно, что скотину жалели. Кто и не хозяин, и без сердца, все равно не сидел — страшно!

Агронома жена прижимала к себе притихшую девочку.

— Хорошо, что Мариночку я не отпустила — ну, как знала!

И тут я первый увидел:

— Едут!

И правда, пока «газик» наш медленно подъезжал к скирде, все мы пережили счастливую минуту. Когда он остановился наконец, бросились с обеих сторон, распахнули дверцы.

— Да мои ж вы внучеки! — причитала тетя Даша, и непонятно было, смеется она или плачет.— Вас только за смертью посылать — где ж вы так долго были?

Первым выбрался из-за руля старший, Алеша. Курточка у него на животе и брюки сверху донизу были мокрые.

Леонид Федорович протянул руку:

— Что случилось, Алешка?

Тот приподнял плечом отцову руку:

— Да ничего. А что?

Одежда на остальных тоже была хоть выжми, и только тут мы заметили, что из «газика» потихоньку капает и что на полу внутри целая лужа.

— Возвращаться пришлось? Самовар перевернулся?

— Да нет,— снова неторопливо ответил старший.— Мы его держали.

И двое других в один голос подтвердили:

— Держали, ага!

— Мыли машину, что ли?

Ширококосулое лицо у старшего оставалось невозмутимым:

— Зачем ее было мыть? Она чистая.

— Так почему вас так долго не было?

Мне показалось, что в голосе у старшего послышался вызов:

— Сам бы, папка, попробовал!

— Да что — сам?

— Как что? Залить его! Дырочка от такусенькая...

— Какая дырочка?

Мы с агрономом уже вытащили самовар, и Алешка ткнул пальцем в отверстие паровичка на крышке:

— Вот эта!

— Льешь, льешь, а она только по нему течет,— пожаловался младший.— А там как было пусто...

Леонид Федорович, казалось, растерялся:

— Так вы что, голода наливали?

На этот раз в голосе у старшего и точно послышался вызов:

— А куда ж еще?

— Да эта дырочка, чтобы пар шел! Чтобы видно, когда кипит.

А крышку снять — ума не хватило?!

Леонид Федорович приподнял ее, и внутри самовара слегка приоткрылось — воды было через край, ребята, и верно, постарались.

— Снял ее, и все дела!

Мальчишки стояли, потрясенные, и на лицах у них медленно начинали расплываться одинаково глупые улыбки. А потом у Алешки разом вдруг посерьезнели серые глаза и дрогнули губы.

— Ты что, папка, не мог сказать?

Повернулся и медленно пошел от нас, только плечи у него не обвисли, не опустил головы — наоборот, словно приподнял ее...

Потом пили чай.

Все-таки, скажу я вам, большое это блаженство — с непокрытой головой сидеть, утонув в соломе, и слушать тишину вокруг, и ощущать в горячих руках железную кружку с крепким чаем, обжигать о край губы, дуть и тут же ловить жадными ноздрями отлетающий парок, в котором чудится тебе и свежий дым от сосновых щепок, и особенный привкус накипи, и даже горьковатый запах разогретой внутри жаровни старой окалины... Смотришь на прогоревший самовар, над которым все еще подрагивает легкая марь, и оттого, что воздух чист и прозрачен, и уже сквозит лес, и синью вымытая даль за ним обнажена, обострено в тебе не только обоняние, но и что-то еще, отчего тонко щемит душа.

Я не специалист, не знаю, — наверное, электрический сепаратор — это и в самом деле здорово. Электрический самовар все же — не то.

И счастливо тебе, и тревожно, когда потянет дымком из твоего детства, из тех далеких дней, когда мама заставляла ставить самовар, и еще откуда-то, что гораздо дальше, из того времени, когда тебя еще не было. И разве это не важно — вдруг ощутить, что когда-то, давным-давно, сидели вокруг самовара другие люди, о чем-то разговаривали, чему-то радовались и горевали о чем-то, и думали свои думы.

Не знаю, почему притихли остальные, но иногда вдруг все вместе мы начинали поглядывать друг на друга и улыбаться и покачивать головой. И тогда двое из сидевших отдельной кучкой мальчишек, готовые прыснуть, лукаво отворачивались, и только Алешка строжал лицом и принимался сосредоточенно дуть в кружку.

— Откуда детишкам знать? — в который раз принималась рассуждать тетя Даша, и голос у нее был виноватый. — Это я, грешница! Не сохранила, не сберегла... Надо было мне убрать подальше, хоть за боровок на потолке спрятать, а они прямо тут, около ляды и стояли, один мамин самовар, а другой еще моей бабушки. А он

тогда уже в пятом классе... Вдруг, вижу, бежит, оба за ручки тащит, и только галстук вьется. Ты куда, Ляня?! И не остановился! А потом я за хворостину, а он: да ты знаешь, что другой класс был первый, а теперь — мы! Да ты забыла, говорит, что война только кончилась, что теперь восстанавливать, да много меди, а где ее взять? Да еще три дня не разговаривал!

— Осозна-ал! — с нарочитой серьезностью сказал сидевший рядом со мной агроном. — Осознал, Федорыч! Это вам, можно сказать, повезло, что сразу приехали. Он говорит: если будет раздумывать или замешкается, мы вот что. Мы ему самовар не отдадим. А поставим-ка в нашей новой столовой, он вам еще не показывал? В ином городе такого ресторана нет, какая у нас теперь столовая — даже банкетный зал!

Тут я, конечно, понял, почему это Леонид Федорович так на меня поглядывал, когда самовар отдавал: отрывал от сердца! И я подумал: надо будет каким-то образом отказаться от столь щедрого подарка. Да оно и верно: куда он мне? Не с нашим городским жильем паровозы коллекционировать. Другое дело — медные пятаки или, как говорит мой друг, колокольчики — понимаешь — бубенчики...

Что-то вдруг изменилось и во мне самом, и вокруг: почудилось, я различил журавлиное курлыкание, такое слабое, что это был как будто еще не клик, а только далекое его предвестье.

И я сперва сидел неподвижно и только потом обернулся и посмотрел вверх.

Они летели высоко и были еще неблизко, но оттого, что стали видны, слышнее сделалась печаль в их тонких голосах.

Я глядел, как подрагивал неплотный треугольник, как почти незримо реяли крылья, и думал, что, кроме тайны, с которой всегда улетают журавли, у этих есть и еще одна: отчего запоздали? До последнего дня ожидали, пока вернется пропавший? Или окрепнет ослабевший перед дальней дорогой?

Тетя Даша проговорила почему-то жалостно:

— Должно, последние...

Мальчишки наши вскочили:

— Журавли! Вон летят, во-он! Журавли!

— Им надо кричать: колесом дорога! — сказала тетя Даша. — Дорога колесом!

Мальчишки задирали головы и приставляли ко рту ладони:

— Колесом дорога-а!..

И маленькая агронома дочка покачивалась на упругой соломе и махала ручкой:

— Колесом!.. Колесом...

Птицы пролетали чуть в стороне, над глубокой долиной как будто снизлись, и острие подрагивающей стайки было теперь направлено на далекие пики снеговых гор.

— А почему надо так кричать? — спросил я у тети Даши.

— А чтоб они обратно вернулись. Такая примета. В старину говорили, непременно вернуться, если покричать...

Снова я лежал на соломе.

Странное все-таки время, осень!.. Покажется вдруг, что и листва опадает, и небо становится прозрачным лишь затем, чтобы ты, непонятно отчего, все задирает голову, все поглядывал вверх: а что там, выше улетевших бог знает как высоко журавлиных криков?

Я вдруг подумал, что журавли, должно быть, счастливы оттого, что их удел — возвращаться. Что журавлю до конца можно верить, будто он еще вернется и в тот раз, который на самом деле станет для него уже последним.

И еще они счастливы, может быть, оттого, что знают заранее, куда и каким путем полетят их птенцы, и знают, что им тоже предстоит всю жизнь возвращаться.



## СОДЕРЖАНИЕ

Хоккей в сибирском городе . . . . .	3
«Хочешь, дам сюжет?...» . . . . .	28
Соки земли . . . . .	35
Колесом дорога . . . . .	45

**Гарий Леонтьевич НЕМЧЕНКО**  
**ХОККЕЙ В СИБИРСКОМ ГОРОДЕ**

Редактор М. М. Жигалова  
Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 13.07.83. Подписано к печати 22.09.83.  
А 00725. Формат  $70 \times 108^{1/32}$ . Бумага газетная. Гар-  
нитурa «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л.  
2,80. Учетно-изд. л. 4,18. Тираж 100 000 экз.  
Изд. № 2196. Зак. № 1098. Цена 25 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции  
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ!**

Во всех книжных магазинах и киосках продаются билеты Всероссийской книжной лотереи.

Вероятность выигрыша достаточно велика: из каждых 200 билетов 69 выигрышных.

Стоимость билета 25 копеек, а сумма выигрыша заранее обозначена на внутренней стороне запечатанного билета: 50 копеек, 1, 3 и 5 рублей.

По выигрышному билету можно приобрести по своему выбору книгу или другие товары из наличного ассортимента книжного магазина или киоска на территории РСФСР.

Прочитанные книги вы можете продать книжным магазинам. Этим вы окажете добрую услугу другим книголюбам.

**Желаем удачи!**

**Росглавкнига.  
Дирекция Всероссийской книжной  
лотереи.**